

ЖЕМЧУЖИНА

Литературно-художественный образовательный журнал

«The Pearl» / «Zhemchuzhina» № 78 Brisbane, Australia, April 2022



Брисбен

78

Апрель 2022 г.

“The Pearl” / “Zemchuzhina”

Literary and Educational Journal in the Russian Language.
Published and printed by the Editor of “The Pearl” / “Zemchuzhina”
Brisbane, Australia.

«Жемчужина»

Литературно-художественный образовательный журнал.
Выпуск - 4 раза в год.

Оформление цветной обложки - © Tamara Maleevsky

Copyright © Tamara Maleevsky - The Editor of “The Pearl” / “Zemchuzhina”

This publication is copyright. Apart from any fair dealing for the purposes of private study, research, criticism or review, as permitted under the Copyright Act, no part may be reproduced by any process without written permission of the Editor.

National Library of Australia cataloguing-in-publication data
“The Pearl” / “Zemchuzhina” - Literary and Educational Journal in the Russian Language

Index

ISSN 1443-0266

Signed articles express the opinions of the authors and do not necessarily represent the opinions of the editor of “The Pearl” / “Zemchuzhina”.

“Zemchuzhina” (“The Pearl”) is a magazine published at the Editor’s own expense as a non-profit publication for the Russian society, consequently, it does not offer any honorariums, stipends or other remuneration to its contributors.

Взгляды, высказываемые авторами в своих статьях, не обязательно совпадают с мнением редакции.

Журнал «Жемчужина» выпускается исключительно на личные средства издателя для русского общества и не преследует коммерческих целей. Следовательно, издатель не выплачивает никаких гонораров, стипендий или иных вознаграждений авторам, труды которых он печатает.

Редакция оставляет за собой право сокращать рукописи и изменять их стилистически.

Рукописи, не принятые к печати, не обсуждаются и не возвращаются.

Адрес для связи:

tamaleevpearl@gmail.com или tmaleevsky10zabelsky@gmail.com

*** Просьба:** посылая работу по E-mail, обязательно делать пометку - “For Pearl”.

Tel: редакция - (07) 3161-49-27 mobile: 0404559294

Читать электронную версию журнала в Интернете - <http://zhemchuzhina.yolasite.com>

Бумажная версия журнала только по предварительному заказу: -

Цена отдельного номера - \$ 10.00 *плюс* пересылка по Австралии и упаковка (\$ 3.50).

Христос Воскресе!

Отцы пустынники и жены непорочны...



Отцы пустынники и жены непорочны,
Чтоб сердцем возлетать во области заочны,
Чтоб укреплять его средь дольних бур и битв,
Сложили множество божественных молитв;
Но ни одна из них меня не умиляет,
Как та, которую священник повторяет
Во дни печальные Великого поста;
Всех чаще мне она приходит на уста
И падшего крепит неведомою силой:
Владыко дней моих! дух праздности унылой,
Любоначала, змеи сокрытой сей,
И празднословия не дай душе моей.
Но дай мне зреть мои, о боже, прегрешенья.
Да брат мой от меня не примет осужденья,
И дух смирения, терпения, любви
И целомудрия мне в сердце оживи

А.С. Пушкин.

Дорогих читателей,
авторов и друзей журнала
поздравляем с Великим
Праздником
Светлого Христова
Воскресения!
ред. журнала «Жемчужина».

ВЕСНА

Отшумела злая вьюга,
Стала ночь короче дня.
Теплый ветер дует с юга,
Капли падают, звеня.
Солнце, землю нагревая,
Гонит с нашей горки лед.
Тает баба снеговая
И ручьями слезы льет.

Г. Ладонщиков



~ ~ ~ ~ ~

Я родилась, когда уже травую
Войны минувшей поросли окопы.
А вот отец хлебнул беды слихвою,
И дед турил фашиста вдоль Европы.

Не сомневаясь, каждый раз на веру,
Я принимала фронтовые были.
Порою, дед смолкал – ни к чёрту нервы –
Швырял цыгарку в дорожник пыльный...

А нынче май. И дед приснился снова.
И никуда от памяти не деться.
Его, солдатская... сиротская, отцова,
Мне студят кровь и будоражат сердце.

Навалится их память огневая,
И встанет на дыбы единым махом
Всё, что люблю я, что с пелёнок знаю,
За что, миллионы шли на смерть без страху

Ни день, ни два, четыре жутких года.
Их боль в погасших навсегда глазах,
Их беды, их потери, их невзгоды
Приходят каждый май ко мне во снах.

Татьяна ГРИБАНОВА.

Чтите долю солдат за слезу матерей
И окопную сырость и грязь.
Чтите долю солдат за потерю друзей,
За великую с родиной связь.
Чтите долю солдат за шинели в пыли,
За смертельные раны в боях.
Чтите долю солдат, - им родимой земли
Не хватало в далеких краях.
Чтите долю солдат в деревнях, городах...
Поклонитесь у братских могил.
И пусть вечный огонь отразится в глазах,
И придаст всем надежды и сил.
Чтите долю солдат... наш великий народ
Неподкупен, не падок на лесть...
Чтите долю солдат, - не окончен поход
Тех, кто спас веку прошлому честь.

А. Лазутин





В этом стихе вся боль Донбасса
за долгих 8 лет!

Я - Горловка! Я вся в слезах.
Я - в клочья сердце, в клочья душу.
Я - жуткий стон, ужасный страх.
Я - крик, просящийся наружу.
Я - Горловка. Замерзший пес,
Рычащий, раненый судьбою.
Я - дом, кричащий миру SOS,
Я - снег, залитый детской кровью.
Я - Горловка, я - чей то враг,
От взрывов, спрятался в подвале,
За поднятый Российский флаг
Меня из градов убивали.
Я - Горловка, я - весь Донбасс!
Я жизнь, тонущая в печали.
Я Мир прошу: "Спасите нас!",
Но Мир молчаньем отвечает.
Я - дочь, которую страна
От сердца мамы отлучила,
Родные узы порвала,
И на майдане застрелила.
Я - сын, попавший под обстрел,
Без рук без ног, с лицом в осколках.
Я - дед, который не успел
Уйти от взрыва с остановки.
Я - мамочка с дитем в руках ...
Застывшим взглядом в небо смотрим.
Я - бабушка с лицом в слезах,
Мой дом снарядами разгромлен.
Я та семья, что не ушла
От взрывов спрятаться в подвале...
Я та Одесская душа,
Которую весной сжигали.
Я - Мариуполь, я - Луганск,
Я - Волноваха, я - Стаханов,
Я - горе, что пришло от вас,
Скоты, набившие карманы.
Я - плач детей, я - сон под град,
Я - боль погибшего народа,
От пуль украинских солдат
И президентского уroda.
Непокоренная, жива!
Седая, хрипая от воя,
Родная Горловка моя,
Достойна Города - Героя!

Сергей Филин.



Герань

"Средь жизни, грустью сумерек объятай,
Поэт - её хранитель и глашатай".

Б. Пастернак

Вот послушай: осенью неранней
(Стали к утру стёкла замерзать)
Мне вазон поставили герани
И сказали: надо поливать.
Что ж, извольте.
...Как-то справясь с ленью,
Ни один не поопуская срок,
Я трудился - и привык к растению,
Захудалый полюбил цветок.
Ах, зима! Вставало, заходило
Где-то солнце, но в моё окно,
В серый сумрак комнаты унылой
Не кидало ни луча оно.
И, к цветку приставлен, точно нянька,
Видел я в холодной тишине,
Что хиреет бедная геранька,
На зиму порученная мне.
Всё-таки жалел я свой заморыш,
Всё, что мог, я делал для него,
И моя заботливость, как сторож,
Только крепче берегла его.
И чудесно дело обернулось
По весне, когда февральским днём
Солнышко впервые дотянулось
До цветка внимательным лучом.
Раз и два - всё чаще это было,
Всё теплее медлил взор луча,
И, пожалуй, это походило
На визит весёлого врача,-
Он входил и уходил: немало,
Видно, хворых было от зимы,
Но уже больному легче стало,
Оба вдруг повеселели мы.
На цветке, недавно полуголом,
Засияла новая листва,-
Скоро стал он пышным и весёлым,
Полным молодого торжества.
Все листочки (не чудесно ль это?)
Повернулись лапками к окну -
К роднику спасающего света,
Голубую льющему волну.
И с весёлым удовлетвореньем
Я глядел на это торжество,
Царственно вознаграждён растением,
Молодою красотой его.
И горжусь я, что зимою чёрствой,
Оставляя книгу и тетрадь,
Не щадил ни лени, ни упорства,
Чтобы жизнь растенья отстоять.
Послужил и делом я и словом,
Милой жизни воздавая дань,
И, быть может, на суде Христовом
Мне зачтётся эта вот герань.

А.И. Несмелов (Митропольский).
1889-1945

Основы христианской культуры

«О ЗАСТАВЛЕНИИ И НАСИЛИИ» - начало в № 73



8. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

Все эти предварительные исследования и соображения, расчищающие путь и проясняющие перспективу, позволяют теперь обратиться к постановке основной проблемы: о духовной допустимости сопротивления злу посредством физического понуждения и пресечения.

Понятно, что проблему невозможно ставить до тех пор, пока не установлены и не определены скрытые за нею реальные, предметные величины. Как рассуждать о зле, не обозначив и не раскрыв его подлинную природу? Что можно высказать о понуждении, если смешать его с насилием и не видеть ни его духовной функции, ни его мотивов, ни его назначения? Позволительно ли ссылаться на природу добра; полагая, что его сущность общеизвестна, и не замечая того, что она упрощается и искажается в рассуждении? Что может получиться в результате, кроме несостоятельного вопроса и несостоятельного ответа?

Но для того чтобы правильно поставить проблему и правильно разрешить ее, нужна не только определенность предметного видения; необходимо еще напряженное усилие внимания для удержания того данного состава условий, вне которого падает или снимается самая проблема. Так, не стоит ставить проблему «удельного веса стали» для того, чтобы потом незаметно заменить «сталь» «чугуном» и, далее, разъяснив мимоходом, что «чугун» есть, в сущности, «руда», определить не «удельный вес», а «абсолютный вес» произвольно взятого кусочка руды... Подобно этому, не стоит ставить проблему «сонатной формы» для того, чтобы разъяснить, что сонат вообще не бывает, что доказать ее существование невозможно, что лучше совсем не слушать музыку и что самое лучшее - это внутреннее самонаблюдение глухого человека... Всякая проблема имеет смысл только *при данных величинах* и при их *верном опытном восприятии*; вне этого она падает или обесмысливается, и тогда тот, кто все-таки продолжает разрешать ее в этом виде, оказывается в смешном положении человека, который мнимо трудится над мнимыми величинами и потом с увлечением провозглашает абсолютную истину.

Исследовать проблему о допустимости сопротивления злу посредством физического понуждения и пресечения имеет смысл лишь при наличии следующих условий.

Во-первых, если дано *подлинное зло*. Не подобие его, не тень, не призрак, не внешние «бедствия» и «страдания», не заблуждение, не слабость, не «болезнь» несчастного страдальца. Налицо должна быть *злая человеческая воля*, изливающаяся во внешнем деянии. Перед судом *правосознания* это будет воля, направленная против сущности права и цели права, а так как духовность составляет *сущность* права и бытие живого духа есть *цель* права, то это будет *противодуховная воля* – по источнику, по направлению, по цели и по средству. Перед лицом *нравственного сознания* это будет воля, направленная против живого единения людей, а так как любовность есть сущность этого единения и любовь есть сама единящая сила, то это будет *противолюбовная воля* – по

источнику, по направлению, по цели и по средству. Всюду, где такая противодуховная и противолюбовная воля изливается во внешнем деянии, *встает вопрос* о сопротивлении злу посредством пресечения. Понятно, что этот вопрос должен быть *немедленно разрешен* всюду, где внутреннее понуждение оказывается бессильным, а злая воля выступает в качестве внутренне одержимой внешней силы, т.е. где она проявляется как духовно слепая злоба, ожесточенная, агрессивная, безбожная, бесстыдная, духовно растлевающая и перед средствами не останавливающаяся; где, следовательно, реально дан тот состав настроений и деяний, за который евангельское милосердие определило как наименьшее утопление с жерновом на шее (Мф 18:6).

Понятно, что истолкование наличного зла как недуга, заблуждения, слабости, случайного «падения» и тому подобное – не разрешает, а *снимает* поставленную проблему, и тогда все призывы к уговаривающему непротивлению оказываются не ответом на вопрос, а *скрытым уклоном* от вопроса и ответа.

Вторым условием правильной постановки проблемы является наличие *верного восприятия* зла, восприятия, *не* переходящего, однако, в его *приятие*. Пока зло никем не воспринято, пока ни одна душа не увидела внешнего деяния и не прозрела скрытую за ним и осуществившуюся в нем злобу – никто не имеет ни основания, ни повода ставить и разрешать проблему внешнего сопротивления. Именно поэтому многие люди, заранее тяготясь предчувствуемой необходимостью ответа, *отвертываются* от зла и предпочитают его не видеть: то уклоняясь от надвигающихся сведений, то «доброжелательно» истолковывая их в лучшем смысле, то укрываясь за невозможностью и непозволительностью судить ближнего, то утверждаясь в «вере», что злоба вообще не присуща людям. Понятно, что отвернувшийся человек, не видящий, не воспринимающий, не испытывающий, – не может разрешить проблему, ибо он *погашает ее в самом себе*, он освобождает себя от ее бремени, притупляет ее остроту и мучительность, а самого себя лишает права участвовать в ее обсуждении; и вследствие этого все его суждения по данному вопросу оказываются или некомпетентными, как суждения слепорожденного о дополнительных цветах, или схоластическими, как суждения резонера о неиспытанных, выдуманных обстоятельствах.

Следует или не следует физически пресекать злодеяния – в этом компетентен только тот, кто *видел реальное зло*, кто воспринял его и испытал, кто получил и унес в себе его дьявольские ожоги, кто не отвернулся, но погрузил свой взор в зрак сатаны, кто позволил образу зла подлинно и верно отобразиться в себе и вынес это, не заразившись, кто *воспринял зло, но не приял зла*. Ибо приявший зло – заразился им, до известной степени стал им и тем самым превратился из субъекта сопротивляющегося – в субъекта, которому надо сопротивляться. Ему ли разрешать вопрос о способах сопротивления? А не приявший зло – подлинно познал его, но не стал им; он имеет его в своем духовном опыте, видит его природу, понимает его пути и законы и потому способен верно поставить и разрешить проблему сопротивления; испытав, отвергнув и умудрившись, он приобрел тем самым силу видения и право суда.

Третьим условием правильной постановки проблемы является наличие *подлинной любви к добру* в вопрошающей и решающей душе. Проблема сопротивления злу есть не теоретическая, а практическая проблема; ее постановка, обсуждение и решение предполагают, что человек не только воспринимает, созерцает или даже изучает явления и поступки людей, но оценивает их, связываясь с ними живым, приемлющим и отвергающим отношением, выбирает, предпочитает и соединяет с выбранным и предпочтенным свое самочувствие, свою радость, свою жизнь и свою судьбу. Здесь мало испытывать и воспринимать – надо любить и вступать в живое тождество; мало мыслить, надо искренно и

подлинно чувствовать; мало констатировать, надо радоваться и негодовать. Если человек, не знающий различия между добром и злом, не может даже усмотреть проблему сопротивления злу, то человек, знающий это различие, но относящийся к нему *индифферентно*, может усмотреть эту проблему, но не сумеет ни поставить, ни разрешить ее. Ибо она открывается только тому, кто берет ее главным, центральным чувствилищем своей души, кто берет ее потому, что не может не взять, и не может не взять ее потому, что вопрос о победе добра над злом есть вопрос его личного бытия и небытия. Подлинное сопротивление злу не сводится к порицанию его и не исчерпывается отвержением его; нет, оно ставит человека перед вопросом о жизни и смерти, требуя от него ответа, стоит ли ему жить при наличности побеждающего зла, и если стоит, то *как именно* он будет жить для того, чтобы этой победы не было. Если торжество кощунственной противодуховности и озлобленной противоположности не душист человека и не гасит свет в его очах, то это означает, что в его душе нет почвы для верного постижения и разрешения проблемы сопротивления злу. Ибо эта проблема формулируется так: что следует делать тому, кто *подлинно любит стихию духа и любви, и*, вот, присутствует при ее опорочении, извращении и угашении. Но компетентен ли нелюбящий судить о трагедии любящего? Что могут сказать «холодный» и «теплый» тому, кто горением приемлет Божественное? Имеет ли смысл допытываться у безразличного, что он будет делать, если увидит гибель того, к чему он безразличен? Вот почему, когда духовный нигилист и индифферентист ставят проблему сопротивления злу посредством физического понуждения и пресечения, то они снимают ее своею постановкою и дают ей мнимое разрешение.

Четвертым условием правильной постановки проблемы является наличность *волевого отношения к мировому процессу* в вопрошающей и решающей душе. Практическая природа вопроса предполагает не только наличность живой любви, но и способность к *волевому действию*, и притом к волевому действию не только в пределах собственной личности, но и за ее пределами - в отношении к другим людям, к их злой деятельности и к тому мировому процессу, в который они органически включены. Этот процесс при любящем и волевом восприятии его предстает в образе великой, развивающейся борьбы, в которой живой и здоровый дух не может не участвовать на стороне добра: он не может не любить, не решать и не напрягаться, содействуя одному и препятствуя другому. И вот, если не стоит спрашивать о том, что делать безразличному, то совсем уже нелепо ставить вопрос о том, что делать человеку, органически безвольному (если бы такой был возможен) или обрекающему себя на искусственное безволие. Человек, сознательно извлекающий свою волю из участия во внешнем для него мире или удерживающий ее от воздействия на душевно-духовную жизнь и душевно-телесную деятельность других людей, - не имеет ни основания, ни права ставить и разрешать проблему о сопротивлении злу посредством внешнего понуждения. Ибо он с самого начала угашает или отводит в себе ту душевную способность (волю) и духовную направленность (на чужое воление), которые только и могут осмыслить эту проблему. Ему и не стоит ставить ее, потому что она для него не существует; ему не стоит и решать ее, потому что она предрешена для него в отрицательном смысле. И все, что он может высказать верного по ее поводу, это открытое признание своей некомпетентности и принципиальное решение воздерживаться от участия в ее обсуждении.

Итак, **в-пятых**, проблема сопротивления злу посредством внешнего понуждения действительно возникает и верно ставится только при том условии, если внутреннее самозаставление и психическое понуждение оказываются бесильными удержать человека от злодеяния. Физическое воздействие должно

испытываться как *необходимое*, т.е. как практически единственно действительное средство при данном стечении обстоятельств; вне этого не имеет смысла ставить проблему. Самая сущность ее в том, что человеку практически даются всего две возможности, всего два исхода: или потакающее бездействие, или физическое сопротивление. В первом случае он, видя, что психическое понуждение недействительно и что злодейство все равно состоится, - или прекращает борьбу совсем и отходит в сторону («моя хата с краю»), или продолжает применять это средство, заведомо для него обреченное на неудачу. Во втором случае он выходит за пределы психического понуждения и направляет или ограничивает злодейскую волю посредством телесного воздействия. Понятно, что тот, кто выдвигает третий исход и допускает или обнаруживает для данного случая действительность самозаставления и психического понуждения, тот не разрешает проблему, а угашает ее; он доказывает не *духовную запретность практически необходимого* пресечения, а его практическую ненужность и этим *снимает* проблему, обходя ее и не исследуя.

Таковы основные условия правильной постановки этой проблемы: подлинная данность подлинного зла, наличность его верного восприятия, сила любви в вопрошающей душе, сила воли в исследующей и отвечающей душе и, наконец, практическая необходимость пресечения. Проблема может считаться поставленной только тогда, если ставящий признает, что *все* эти условия *даны*, и если он в процессе исследования утверждает их силою своего внимания, не теряет их нечаянно и не угашает их сознательным утверждением или перетолковыванием. Отсутствие хотя бы одного из этих условий делает вопрос неверным, а ответ мнимым.

«Следует ли мне бороться со злом посредством физического сопротивления, если зла нет, а то, что кажется злом, есть страдание, восходящее к подвижничеству?» Ответ может быть только один: нет, конечно, не следует.

Но чего же стоит этот мнимый ответ на вопрос, который сам себя упраздняет?..

«Следует ли мне бороться со злом посредством физического сопротивления, если я не вижу зла и не знаю, в чем именно оно состоит, и бывает ли оно вообще, и если бывает, то есть ли оно сейчас и где именно?» Ответ может быть только один: пока не видишь и не находишь - не следует. Но какую же цену имеет такой успокаивающий ответ на вопрос наивного или духовно-слепого ребенка?..

«Следует ли мне бороться со злом посредством физического сопротивления, если действие зла ничему не вредит или вредит только неценному, нелюбимому, такому, что на самом деле не заслуживает ни обороны, ни поддержки и к чему следует относиться безразлично?» Ответ не вызывает сомнений: нет, не следует. Но какое же значение может иметь этот расчетливо-верный ответ на испуганно-отрекающийся вопрос?..

«Следует ли мне бороться со злом посредством физического сопротивления, если воля моя мертва для всего внешнего и права в этой своей мертвости, если она не имеет никаких целей и заданий вне меня самого и моей души и не призвана ни к чему внешнему?» Ответ ясен: нет, не следует. Но что же может дать живому духу такой дедуктивный ответ, навязанный формулой самоубивающегося вопроса?..

«Следует ли мне бороться со злом посредством физического сопротивления, если столь же действительны или гораздо более действительны ласка, уговоры, доказательства или обращения к стыду и совести?» Ответ несомнителен: конечно, не следует. Но кого же успокоит этот самоочевидный ответ, игнорирующий трагическую глубину умолчанной дилеммы?..

Верная постановка проблемы дает совсем иную формулу вопроса, а именно: если я вижу подлинное злодейство или поток подлинных злодейств и нет возможности остановить его душевно-духовным воздействием, а я подлинно связан любовью и волею с началом божественного добра не только во мне, но и вне меня, - то следует ли мне умыть руки, отойти и предоставить злодею свободу кощунствовать и духовно губить, или я должен вмешаться и пресечь злодейство физическим сопротивлением, идя сознательно на опасность, страдание, смерть и, может быть, даже на умаление и искажение моей личной праведности?..

9. О МОРАЛИ БЕГСТВА

Так ставится проблема сопротивления злу в ее наиболее острой, напряженной, трагической части, решающей вопрос о допустимости физического поножжения и пресечения. С самого начала ясно, что эта постановка вопроса не только существенно отличается от той постановки, которая была выдвинута проповедниками «непротивления», но и целиком отвергает ее. Ибо их постановка всецело покоится на недостаточном, неверном духовном опыте - чисто личном, предметно непроверенном, философски незрелом. Они не испытывают предметно и подлинно то, о чем говорят, наивно отпавляясь от собственных душевных состояний и не подозревая о том, что это философски опасно и недопустимо.

Опыт каждого ограничен - и в размерах данных ему способностей, и в составе изначально доступных ему содержаний. И каждый человек имеет задание растить, очищать и углублять свои способности и предметно проверять, умножать и углублять свои жизненные содержания; пренебрегая этим, он обрекает себя на духовное измельчание и оскудение. Но если таково призвание каждого человека, то для *философствующего* и *учительствующего* писателя сомнение в состоятельности и верности своего духовного опыта является первою обязанностью, священным требованием, основою бытия и творчества; пренебрегая этим требованием, он сам подрывает свое дело и превращает философское искание и исследование в субъективное излияние, а учительство - в пропаганду своего личного уклада со всеми его недостатками и ложными мнениями. Как бы ни был одарен человек - ему может нравиться дурное и уродливое; он может просмотреть глубокое и в безразличии пройти мимо священного и божественного; его одобрение не свидетельствует о достоинстве одобряемого; его порицание может быть основано на чисто личных отвращениях и пристрастиях или на панических уклонениях бессознательного (фобиях); его «убеждение» может быть продуктом отвлеченной выдумки, склонности к парадоксу, к умственной аффектации, к необузданному протесту или рисующейся стилизации. И беда, если опасность и недопустимость такого учительства ускользнут от философа, если религиозность не научит его умственному смирению, если он начнет благоговеть перед своими пристрастиями и отвращениями! Тогда вся его философия окажется в лучшем случае удачным самоописанием, как бы автопортретом его души, а его учение - призывом к воспроизведению этого портрета в других душах...

Для того чтобы учить, например, о соотношении «зла» и «любви», недостаточно «представлять себе» то, что обычно представляют себе при этом философски неискушенные обыватели: «зло» совсем не совпадает с тем, что «меня *возмущает*», или что «меня *особенно возмущает*», или что меня *всегда* возмущает; «любовь» совсем не есть «жалостливое содрогание при виде чужого мучения», или «удовлетворение от чужого удовлетворения», или «желание всегда владеть тем, что нравится» и т.д. Если мыслитель успокаивается на таком или

подобном этому истолковании, да к тому же еще мнит себя обладателем последней истины, то он обеспечивает себе трагикомический результат в виде претенциозного лже-учения. И дело совсем не сводится к ошибке в „логическом определении“, ошибку надо искать не столько в мышлении, сколько в *духовном опыте*. Не каждый человек имеет подлинный опыт подлинного зла, подлинной любви, религиозности, воли, добродетели и т.д. Огромное большинство людей и не заботится о приобретении его, и не знает, как он приобретается. Многие, быть может, и не могли бы приобрести его, если бы даже захотели и начали стараться». Трудно было бы и требовать этого от всякого обывателя как такового. Но учительствующий философ, который удовлетворяется своими личными, домашне-обиходными представлениями, - вводит духовные пределы своей личности в состав изображаемых им священных предметов и сознательно или бессознательно пытается узаконить, канонизировать для человечества свою немощность и слепоту. К сожалению, в русской философствующей публицистике такой способ «творить» и «учить» является слишком распространенным, и даже исключительная художественная одаренность не всегда спасает от этого ложного и вредного пути.

Постановка проблемы о допустимости борьбы со злом посредством физического сопротивления требует от философа прежде всего наличности верного духовного опыта в восприятии и переживании *зла, любви и воли и, далее, - нравственности и религиозности*. Ибо вся эта проблема состоит в том, что *нравственно-благородная душа* ищет в своей *любви - религиозно-верного, волевого* ответа на буйный напор *внешнего зла*. Столковывать эту проблему иначе - значит обходить ее или снимать ее с обсуждения.

И вот Л.Н. Толстой и его последователи стараются прежде всего обойти эту проблему или снять ее с обсуждения. Под видом разрешения ее они все время пытаются показать ищущей душе, что такой проблемы совсем нет, ибо, во-первых, никакого такого ужасного зла нет, а есть только безвредные для чужого духа заблуждения и ошибки, слабости, страсти, грехи и падения, страдания и бедствия; во-вторых, если бы зло обнаружилось в других людях, то надо от него отвернуться и не обращать на него внимания, не судить и не осуждать за него – тогда его все равно что не будет; в-третьих, любящему человеку эта проблема и в голову не придет, ибо любить - значит жалеть человека, не причинять ему огорчений и уговаривать его самого, чтобы он тоже любил, а в остальном не мешать ему, так что любовь исключает даже «возможность мысли» о физическом сопротивлении; в-четвертых, это проблема пустая, потому что нравственный человек заботится о самосовершенствовании и предоставляет другим свободу самоуправления, отвращая от них свою волю и усматривая во всем происходящем «волю Божию»; и, наконец, в-пятых, если уже бороться с внешним злом, то *всегда* есть другие, лучшие и более целесообразные средства и меры. Это означает, что самая сущность зла и отношения к нему, самая сущность любви и нравственности, воли и ее направления, самая основная природа религиозности и даже состав человеческих отношений и столкновений с начала и до конца истолковываются так, что проблема оказывается обойденною или снятою с обсуждения. Драматический элемент ее растворяется в сентиментальной идеологии, трагическая глубина ее замалчивается, добродетель наслаждается своею «любовью», а порок беспрепятственно изливает свою злую волю в мир.

Таким образом, граф Л.Н. Толстой и его единомышленники принимают и выдают свое бегство от этой проблемы за разрешение ее. Трудно найти в их писаниях какое-нибудь суждение по этому вопросу, которое не обнаруживало бы дефектов их духовного опыта и их стремления уклониться от вопроса и ответа. И если пристальнее всмотреться в это бегство философа от разрешаемой им проблемы, то неизбежно вскроются те глубокие основы его мирозерцания и

самочувствия, которыми обусловлена вся эта, типичная для его публицистики, ошибка. Здесь достаточно коснуться этик основ, только указать на них, для того чтобы осветить ее истоки.

В центре всех «философических» исканий Л.Н. Толстого стоит вопрос о моральном совершенстве человека; от разрешения этого вопроса зависит и им определяется все остальное; именно в ответе на него тонет и исходный страх смерти; именно опыт морального совершенства открыл ему и смысл всей жизни, и возможность заполнить ужаснувшую его вначале богопустынную современную душу. Строго говоря, все мирозерцание Л.Н. Толстого выращено им из *морального опыта*, который вознесся надо всем, все судил и осудил, все заменил и вытеснил: и религиозный опыт, и жажду знания, и силу художественно-самозаконного видения, и правосознание, и любовь к родине... Моральность стала высшей, самодовлеющей и единственной ценностью, пред которой обесценилось все остальное. Все учение его есть не что иное, как *мораль*, и в этом заложено и этим определено уже все дальнейшее.

Мораль Толстого как философическое учение имеет два источника: во-первых, живое *чувство жалостливого сострадания*, именуемое у него «любовью» и «совестью», и, во-вторых, доктринерский рассудок, именуемый у него «разумом». Эти две силы выступают у него обособленно и самодовлеюще, не вступая ни в какие высшие, исправляющие и углубляющие сочетания и отнюдь не сливаясь друг с другом: сострадание поставляет его учению непосредственный *материал*, рассудок *формально* теоретизирует и развивает этот материал в мирозерцающую доктрину. Всякий иной материал отмечается как мнимый и фальшивый, откуда бы он ни проискал; всякое отступление от рассудочной дедуктивной последовательности отмечается как недобросовестная уловка или софизм. Все мирозерцание его может быть сведено к тезису: «надо любить (жалеть), к этому приучать себя, для этого воздерживаться и трудиться, в этом находить блаженство, все остальное отвергнуть». И все его учение есть рассудочное развитие этого тезиса.

Именно форма рассудочной морали придаст его учению черту *раздвоенного самочувствия*, постоянно памятующего о своем грехе и противопоставляющего «себя» - «своей злой похоти». Моралист всегда внутренне раздвоен; он напуган собственной грешностью, мнительно оглядывается на нее, педантически следит за ней, судит ее, запугивает ее и остается сам запуганным ею, всегда готовым к самопонуждению и *неспособным к цельному, сильному героическому порыву*. Но именно такая цельность и такой порыв бывают необходимы для внешнего пресечения зла. Далее, форма рассудочной морали придает его учению черту *всеуравняющей строгости*, признающей только полноту недостижимого идеала, только одну линию (один критерий!), и притом *прямую* линию (никаких отступлений!). Для рассудка все ясно и просто, он не видит сложности внутренней и внешней жизни, он не знает трагических противоречий, его дело – упростить сложность до ясности и свести ясность к систематическому единству.

Он слеп для реальности и имеет дело только с отвлеченными понятиями. В морали он даст единый критерий, схему, трафарет, штамп и отмечает то, что ему не покоряется. Он ригорист, его тянет к общеутвердительным и общеотрицательным суждениям: все есть – или «а», или «не а»; всякое «а» одобряется, всякое «не а» осуждается, а все остальное – вызывает его гнев как изобретение «свое-корыстия» и «недобросовестности». Отсюда неспособность рассудка усмотреть сложность и глубину жизненных положений и отношений, отсюда и неспособность его разрешать вопросы жизненной целесообразности, которые *превращаются* для него в вопросы моральной верности. Но именно *видение сложности и целесообразности жизнеотношений* бывает необходимо для физического сопротивления злу.

Далее, форма рассудочной морали придает учению Толстого черту своеобразного *эгоцентризма* и *субъективизма*. Запуганный своими греховными вожделениями и необходимостью подвести их под суд единого прямого критерия, моралист начинает испытывать «зло» своей души как подлинное, главное и единственное зло и свою внутреннюю моральную борьбу как центральное событие мира. Мораль всегда учит не о «добре» и «зле», а о *личной доброте* и *личной порочности*; она занята атомом, человеческим индивидуумом; и кругозор ее внимания ограничен: моралист отвращен обычно ото всего, кроме непосредственного состояния личной души. Это объясняется тем, что мораль есть хотя в общем и необходимая, но первичная, низшая стадия восхождения к практическому совершенству. На этой стадии первоначальная, инстинктивная установка себялюбия, присущая самосохраняющейся особи, является еще не преодоленной; направленность (интенция) личной воли и внимания уже обновлена и вступила в духовную стадию - ибо человек ищет некоего объективно-значащего *совершенства*, но предметный объем внимания очерчен пределами личности и прежний инстинктивный «эгоизм» уступил свое место «моральному эгоцентризму».

Моралист есть существо, завернувшееся в себя (интровертированное) и сосредоточенное на *своих* состояниях и переживаниях, на своих склонностях и заслугах. Для него важнее и ценнее воздержаться самому от какого-нибудь дурного поступка, чем внести целую живительную струю в общественную – церковную, национальную или общественную жизнь. Эта сосредоточенность на своем, внутреннем (и притом именно с точки зрения моральности) - бывает у него нередко столь сильна, что он фактически верит в реальность своего личного настроения и *не очень верит* в реальность чужих душевных состояний и чужих внешних поступков. Постоянно разбираясь в своей душе и педантически добиваясь верного знания ее и верного суждения о ней, он не научается верно воспринимать *чужие настроения* и привыкает считать чужие души темной, неизвестной, невоспринимаемой сферой, о которой ни он, ни кто другой «не в праве судить». Необходимая каждому человеку работа внутреннего самосовершенствования постепенно приобретает в его жизни подавляющее, исключительное значение, доходя иногда до моральной мнительности и подозрительности: он становится пленником, рабом собственной добродетели, и если он при этом отменяет все остальные духовные измерения и возводящие пути, то жизнь его приобретает оттенок самоопустошающегося педантизма.

Понятно, что такому человеку естественно взывать к моральному самосовершенствованию и видеть в нем духовную панацею и неестественно воспитывать других и бороться с общественно-объективирующимся злом. В момент семейной, национальной, общечеловеческой катастрофы, вызванной победоносным взрывом зла, он будет по-прежнему опасно рефлексировать на свою внутреннюю моральную безошибочность и праведность и приглашать других к такому же «непротивлению», напоминая тех, кто в эпоху чумы предоставлял заразе распространяться и заботился только о своей личной незараженности. Наконец, вся эта постановка вопроса ведет к тому, что в учении Толстого моральная верность душевного состояния оказывается *высшей, самодовлеющей целью*, главным и единственно достойным пунктом человеческих усилий и стремлений. Если для религиозного человека «моральность» есть условие или ступень, ведущая к боговведению и богоуподоблению, если для ученого «моральность» есть экзистенц-минимум истинного познания, если для политика-патриота «моральность» обозначает качество души, созревшей к властвующему служению, – то здесь «моральность» есть последняя и ничему высшему не служащая самоценность. Достигший ее – достиг чего-то последнего и безусловного, того, в чем смысл человеческой жизни и чем невозможно пожертвовать: ибо оно выше все-

го и нет ничего высшего. Все подчиняется моральности, все оценивается ее критерием, она всему цель, для нее все средство. Все можно и должно отдать за нее и ради нее, но жертвовать ею, хотя бы частично, хотя бы на момент, – бессмысленно, противоестественно, кощунственно. Достигнув своего сокровища, скупой рыцарь владеет мирами и не может отдать его за что-нибудь другое, пока не перестанет быть скупым рыцарем...

Именно поэтому моралист такого уклада, если только он последователен, - неизбежно будет обречен в жизни на чудовищные положения. Ибо, в самом деле, что ответит он себе и Богу, если, присутствуя на изнасиловании ребенка озверелой толпой и располагая оружием, он предпочтет уговаривать злодеев, взывая к очевидности и любви, и потом, предоставив злодейству свершиться, останется жить с сознанием своей моральной безукоризненности? Или он здесь допустит «исключение»? Но во имя чего же? Во имя чего он пожертвует своей праведностью и совершит «зло», воспротивившись «насилием»? Если это высшее доступно ему и признается им, то его необходимо формулировать... А если оно будет формулировано, то что же останется от всей пресловутой доктрины «непротивления»?

И. ИЛЬИН.

~ ~ ~ ~ ~

Украина, ты сошла с ума!
Ты теперь не нэнька, а тюрьма.
Ты теперь - Гоморра и Содом,
То ли психбольница, то ль дурдом.

Собирайся! За тобой пришли
Западные дяди-упыри!
Собирайся и не прекословь!
Им нужна твоя живая кровь!

Сколько лет в тебе будили прыть,
Чтобы на Россию натравить!
Мол, друзья тебе - и лях, и швед.
Лишь Она - виновница всех бед.

Скачут над осколками святынь
Внуки тех, кто поджигал Хатынь,
Тех, кто гнал евреев в Бабий Яр,
Тех, кому неважно - млад иль стар.

Почему ты веришь этим псам?
Этим оселедцам и усам?
Ну, тогда пошире рот оскаль,
Прыгай! - "Кто не скачет, тот - москаль!"

Ты всё где-то числишься страной,
В клочья раздираема войной,
Но земля, что под тобой дрожит,
Не тебе уже принадлежит.

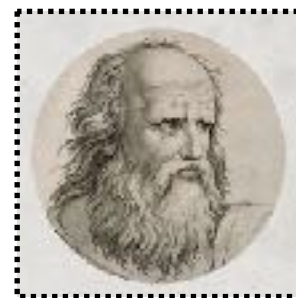


За землицу щедро заплатил
Кто-то из заморских воротил.
"Sorry, если кто из вас убит.
Only business. Никаких обид".

Ты однажды выползешь на свет,
Обернёшься... А тебя уж нет.

Константин Юрьевич ФРОЛОВ

Фашист Геббельс о бандеровцах:



*Никого люди не ненавидят столь сильно, как того, кто говорит ПРАВДУ.
Платон.*

«Жизнь - родине, душа - Богу»

Эти слова как нельзя более полно характеризуют житие и деяния адмирала Российского флота Федора Ушакова, прославленного ныне в лике святых.

Ушаков Федор Федорович

(1745-1817)



...Величайший русский флотоводец, командующий Черноморским флотом и русско-турецкой армией в Средиземном море. Вошел в историю как победоносный адмирал, не познавший ни единого поражения в морских баталиях. В биографии Ушакова Федора Федоровича было 43 сражения, но ни один из его подопечных не оказался в плену, и ни один из кораблей не был потерян в бою.

Детство и юность

Федор Федорович Ушаков родился 13(24) февраля 1745 года в небольшом селе Бурнаково, Романо-Борисоглебского уезда (ныне Рыбинского района Ярославской области). Отец его - Фёдор Игнатьевич Ушаков (1710-1781), сержант в отставке и дворянин, дядя - старец Феодор Санаксарский.

Мальчик с ранних лет грезил о море, и все «сухопутные» игры были ему неинтересны. Он с большим удовольствием стругал деревянные корабли и пускал их на воду, воображая себя великим стратегом. 16-летнего Федю родители отправили в Санкт-Петербург, где он поступил в Морской кадетский корпус. Он с большим рвением и прилежанием грыз гранит науки, и в 1766 году с отличием окончил учебу в звании мичмана. В начале своей морской карьеры юный Ушаков был направлен на Балтийский флот, но в преддверии русско-турецкой войны был переведен на Азов.

В 1783 году Ушаков, будучи уже капитаном 1-го ранга, получил в распоряжение судно, которое только отстраивали в Херсоне. Строительство оказалось под срывом из-за вспыхнувшей эпидемии чумы, однако Ушакову удалось взять ситуацию под контроль и уберечь всех членов своего экипажа от смертельной болезни. В итоге строительство было завершено, а находчивый капитан был награжден орденом Св. Владимира 4 класса.

Русско-турецкая война

Война подарила талантливому амбициозному офицеру шанс заявить о себе. В 1787 году в его командовании оказался корабль «Святой Павел», на котором он успешно отразил нападения турок.

Военная слава пришла к Ушакову в 1790 году, когда контр-адмиралу было поручено руководство всем Черноморским флотом. Он начал свою блистательную кампанию обходом восточного черноморского побережья, во время которого истребил 26 вражеских судов.

Командуя Черноморской флотилией, Федор Федорович победоносно завершил русско-турецкую войну, разгромив неприятеля в сражениях возле Керченского пролива, мыса Калиакрия и острова Тендра. Блестящие победы Ушакова принесли ему многочисленные почести, награды и произведение в вице-адмиралы.

В краткой биографии Ушакова имелось место новшества в ведении морского боя: стратег первым в истории нарушил негласный кодекс сражения и кардинально изменил тактику. Корабли русского полководца стремительно сближались с неприятельским флотом и, не тратя времени на перестроение, атаковали главный вражеский корабль, а после - и все остальные. Ушаков до последнего преследовал и топил все турецкие корабли. Он щадил человеческие жизни и брал пленных, но безжалостно уничтожал неприятельские суда.

Средиземноморский поход

В 1798 году император Павел I отдал Ушакову приказ - направить черноморскую флотилию к Ионическим островам, захваченным французами, и укрепить российскую власть на Средиземном море. Примечательно, что в этот раз союзником Ушакова стал его недавний противник - Османская империя.

Русскому флотоводцу удалось в кратчайшие сроки освободить средиземноморский архипелаг от присутствия французов. По окончании успешной экспедиции Федор Федорович был возведен в чин адмирала, а турецкий султан в знак уважения презентовал ему богатые дары. Адмирал Ушаков, морской деятель, прославил и высоко поднял авторитет в то время еще молодого Черноморского флота. Турки с почтением называли его «Ушак-паша».

Будучи сторонником суворовской школы воспитания защитников отечества, он имел глубоко христианскую натуру, проявившуюся во всех направлениях его деятельности: военной, дипломатической, благотворительной. Русский народ знал: где Ушаков - там победа. Как и генералиссимус Суворов, Ушаков стал символом непобедимой мощи русского воинства.

19 декабря 1806 года адмиралом Ф.Ушаковым было подано прошение об отставке. В 1810 году он переехал в деревню Алексеевку неподалеку от Санаксарского монастыря. Будучи племянником знаменитого санаксарского старца Феодора, адмирал последние годы жизни провел вдали от столицы, занимаясь благотворительностью и помогая обездоленным. Адмирал Ушаков был частым богомольцем в Санаксарском монастыре, подолгу оставался в нем, неукоснительно посещая все монастырские богослужения. После начала в 1812 году Отечественной войны, Ф.Ушаков совместно с темниковским протоиереем Асинкритом Ивановым устроил госпиталь для раненых, пожертвовал средства на содержание 1-го Тамбовского пехотного полка.

Последним пристанищем великого русского полководца стала небольшая деревенька Алексеевка, где он доживал свои дни. Скончался Федор Федорович 2(14) октября 1817 года. Усопшего несли на руках почти 5 верст до самой Санаксарской Рождества Богородицы обители. По завещанию Федор Федорович был погребен «в монастыре подле сродника его из дворян, первоначальника обители сия иеромонаха Феодора». Позже над местом упокоения Ушаковых была воздвигнута часовня. Спустя столетие её до основания разрушили, а останки праведников осквернили...

~~~~~

В 1944 г. государственная комиссия обследовала место захоронения адмирала Ушакова и обнаружила его останки нетленными. С той поры монастырь находился под присмотром властей. И, как говорят, в темные времена безбожия слава Ушакова спасла обитель от разрушения.

Феодор Ушаков в своей земной жизни был доблестным флотоводцем, покрывшим себя неувядаемой славой, и в то же время человеком высокой духовной жизни, исполненным необыкновенной чистоты, подлинным подвижником благочестия. Светское и духовное начала соединились в нем удивительно гармонично, и жизнь его, победив неумолимое время, стала достоянием вечности, превратившись в воплощенную легенду, песню, переходящую из уст в уста. В его личности сошлись высокое служение Церкви и доблесть православного воинства. В народе всегда глубоко почитался подвиг воина, исполненного непоколебимой веры мужества и христианского сострадания к ближним. Милостивый печальник народных нужд, суровый и требовательный по отношению к себе, но снисходительный и щедрый в обращении к подчиненным, - таким был адмирал.

4-5 августа 2001 года в Санаксарском Рождества Богородицы монастыре Саранской епархии состоялись торжества, посвященные канонизации святого праведного воина Феодора (Ушакова), адмирала Российского флота. Впервые в истории христианства в лике святых прославлен флотоводец...

По материалам Интернета

~~~~~

**24 февраля - день рождения Свят. Федора Ушакова.
В этот день началась спецоперация.**

А теперь прочитайте: на иконе новопрославленный святой изображен со свитком, на котором начертаны знаменательные слова:

**«Не отчаивайтесь, сии грозные бури
обратятся ко славе России».**

Святой праведный воине Феодоре, моли Бога о нас!



Молиться

Экспресс, набрав приличную скорость, несся среди темноты. А, кроме темноты, за окнами был ужасающе непривычный холод, изрядно потрепавший меня сегодня. В вагоне же было тепло и комфортно. По крайней мере, мне, битых пять часов слонявшемуся по улицам столицы.

Я читал, и чтение так убаюкало, что я потерял чувство времени. Не то чтобы книга была интересная, а потому что устал за несколько напряженных дней. Решив убедиться, где мы едем, я закрыл книгу и стал пристально вглядываться в темноту. Но по мере того, как я это делал, мое беспокойство нарастало: за окном проносились большие дома и магазины, полные света, дороги, запруженные автомобилями, но не узнавал места.

Вдруг мне стало совсем не по себе от мысли, что я мчусь не туда. Я огляделся по сторонам. Пассажиры мирно отдыхали, девочка рядом со мной, копалась в планшете, трое суворовцев, сидящих рядом, грызли яблоки и негромко разговаривали. Да и все остальные были спокойны чрезвычайно. Это было невероятно: мы все ехали не туда. Но куда же? Я поглядел на циферблат своих часов: сорок минут в пути. Должны же выехать из ближайшей Москвы! Но нет. Опять - дома, автомобили. Отличная иллюминация. Боже правый! Как же такое возможно?

И тут я по-настоящему запаниковал: просто приник к окну, в ожидании рассмотреть привычную картину. Но той все не было. Потерявши всякую уверенность, что происходящее со мной реально, я ощутил на глазах что-то влажное. Слезы вытекали из меня, проделывая путь до подбородка, а затем срывались вниз. И я не мог их остановить.

Девочка, сидевшая рядом, насторожилась, глядя на меня.

- Вам плохо? - наконец через десятисекундную паузу произнесла она.

Но ответить я ничего не мог: слова, которые я произносил, не были слышны никому, кроме меня. Это были слова молитвы, которую я когда-то хорошо знал. Вот они-то и вспомнились, внезапно и сразу все. Я глядел на девочку, не переставая плакать, и лишь беззвучно шевелил обветренными губами. И что-то странное наполняло меня при этом. Что-то необъяснимо теплое и светлое, делавшее меня легким и естественным. Тем человеком, о котором я давным-давно позабыл.

И даже, пробудившись от странного сна, я не мог остановить влагу, сочившуюся из моих глаз.

- Вам плохо? - спросила сидевшая рядом девочка.

Сквозь слезы я улыбнулся ей.

- Наоборот. Мне хорошо.

Владимир Бодров. Россия.

ОТТЕПЕЛЬ



Оттепель после метели.
Только утихла пурга,
Разом сугробы осели
И потемнели снега.
В клочьях разорванной тучи
Блещет осколок луны.
Сосен тяжёлые сучья
Мокрого снега полны.
Падают, плаваются, льются
Льдинки, втыкаясь в сугроб.

Лужи, как тонкие блюдца,
Светятся около троп.
Пусть молчаливой дремотой
Белые дышат поля,
Неизмеримой работой
Занята снова земля.
Скоро проснутся деревья,
Скоро, построившись в ряд,
Птиц перелётных кочевья
В трубы весны затрубят.

1948 **Николай Заболоцкий**



“Моё мнение могло не раз измениться. Но не тот факт, что я всегда ПРАВ”.
(Ashleigh Brilliant)

«КРАСНЫЙ» АРХИЕРЕЙ

рассказ

Над монашками еще и глумились долго, потому как не старухи древние они еще были.

Командир карательного отряда - щедушный низкорослый мужичок средних лет, повернул желчное, заросшее щетиной, лицо к стоявшему рядом пожилому бойцу:

- А вы, товарищ, не хотите присоединиться к молодцам? - и зло-весело сверля его карим глазом - другой был, ровно заслонкой, прикрыт бельмом, кивнул на заброшенный овин, откуда доносились девичьи стоны и причитания.

Дядька растерялся, опустил ствол винтовки, и тут же остановились, перестали выбрасывать лопатами землю из ямы вкопавшиеся уже по грудь два священника и немолодой, но крепкий мужик - церковный староста. Они смущали народ, когда из монастырских храмов и здешней приходской церкви отряд выгребал ценности. С ними, с "контрой", долго не чикались, тут же к высшей мере приговорили.

Лишь по-прежнему стоявший на коленях возле края разверстого зева ямы восьмидесятилетний старец-архиерей монотонно, нараспев, читал молитвы; ветерок шевелил на его голове реденький белесый пух.

- Что, работнички? Хватит с вас? Авось, все поместитесь! - бельмастый знаком приказал копалям выбираться из ямы.

Разрумянившееся потные бойцы вытолкнули из сарая трех монахинь. Они, увязая босыми ногами в холодной супеси и пытаясь прикрыть наготу разодранной одеждой, взошли на земляной бугор. Монашенки помоложе жались к настоятельнице, статной сорокалетней женщине. Оглянувшись, она ожгла палачей взглядом черносморозинных глаз.

- Приготовиться! - скомандовал бельмастый, с усмешкой косясь на молоденького служивого с расцарапанной мордашкой; тот, вжимая в плечо приклад винтовки старательно целился. - Пли!

"Какая баба красивая! - ненароком успев встретиться со взглядом игуменьи, вздохнул пожилой дядька. - Эх, губим!.. Каторжанец, твою мать!" Он поморщился от звука скрипучего неприятного голоса бельмастого, выкрикивающего команды.

Другой залп смел в яму священников и старосту, остался стоять епископ с воздетыми к небу руками, шепча слова отходной молитвы. Но вот и он повалился...

- Свадьба что надо - невесты, женихи и посаженный батюшка! Зарывайте!

Бельмастый отошел к воротам овина, запалил остатки сена. Бойцы, торопливо закидывая землей убиенных, хмуро косились на своего командира: он, неотрывно глядя на взметнувшиеся языки пламени, бормотал что-то, лишь ведомое ему...

- Серафима!..

Епископ-обновленец Александр Надеждинский, высокий, худощавый, после бессонных ночей с набрякшими синими подглазьями на осунувшемся лице, мерил шагами взад-вперед полутемную горницу; при тусклом свете керосиновой лампы длинная уродливая тень бестолково металась по стене.

Чумазый, со спутанной гривой нечесаных волос, парень, заикаясь и плача, закончил свой сбивчивый рассказ и, когда Александр сдавленно простонал, сжался в углу, вылупив полубезумные глаза. Рот его перекосялся в страшной гримасе, на губах запузырилась пена, и через минуту парень забился в припадке на полу.

Прибывший на шум епархиальный секретарь остановился в растерянности, не ведая чем помочь парнишке. Он первый заметил этого оборванца, трущегося около архиерейского подворья. Парня прогоняли, а он все упорно норовил попасться на глаза архиерею и, стоило епископу Александру выйти на крыльцо, бросился ему в ноги, лопоча невразумительно и обливаясь слезами. Его попытались оттащить прочь, но кто-то из obsługi признал в нем иподиакона убитого епископа Варсанофия.

Он видел все... Родом из тех мест, исхитрился как-то прошмыгнуть напрямки лесом, пока приговоренных везли окружной дорогой на место расстрела, затаился в кустах, после того как упал последним владыка, заревел в полный голос. Не услышали: спасло то, что рьяно занялись, затрещали, стреляя далеко головешками, крыша и стены овина, и в этой зловещей трескотне потонули рыдания парнишки...

Епископ Александр, хотя и не разобрал доброй половины слов, но представил себе произошедшее до сердечной обессиливающей боли зримо.

"Серафима!.."

Вроде бы с той поры и немного лет минуло, и...много...

У них все было сговорено. Великая Смута только начинала надвигаться, расправлять над Россией кровавый свой морок, но все еще в жизни казалось прочно, незыблимо.

У Александра подходила к завершению учеба в духовной академии, надо было решать: принимать ли монашество, либо приглядывать себе невесту, жениться и ждать святительского рукоположения в приходские батюшки. За будущей матушкой дело не стало. На рождественские каникулы из Лавры он летел к Серафиме в мыслях, как на крыльях, но мучительно медленно тащился поезд. Проплывали за окном сонные, засыпанные снегом полустанки, оставались позади станции с важно вышагивающими по перрону городскими и ватагами гомонящих пирожников, и - опять за окном то глухой сумрачный перелесок, то холмы с черными пятнами деревенок на вершинах.

С Серафимой выросли вместе. Отец ее был настоятелем храма в городской слободке, отец Александра - простым псаломщиком. Александр хорошо помнил, как трепетал отец перед суровым громогласным протоиереем, допустив оплошку в службе, и, выслушав внушения, заискивающе лебезил. Услужливо прогибая спину, он тыкался багрово-красной коковой носа в холеную поповскую руку, ища благословения и забвения вины.

Поначалу маленький Саша тоже боялся гневных настоятельских глаз и прятался, позже ему становилось стыдно за отца. Тот, пережив очередную выволочку, все чаще прикладывался к кружке с компанией нищевродов за углом и, наклюкавшись, беззвучно плакал, размазывая слезы по лицу. Сыну быть вот таким не хотелось...

В семинарии Александр выбился в первые ученики, а когда оказался в академии и в редкие побывки дома встречал старого протоиерея, тот теплел взглядом: "Каков молодец! Не в тятку!"

Глаза у Серафимы - в отца-настоятеля, жгуче-черные, только не гневливые и высокомерные, а с обвораживающей лукавинкой и тайной на доньшке. Приехал как-то на каникулы Александр, увидел неожиданно расцветшую из нескладной девочки-подростка Серафиму и без памяти влюбился...

После вагонного тепла Александр, выйдя на перрон, мгновенно продрог от налетевшего свирепо ледяного ветра, охрип, пока кричал извозчика, и, наконец, постучав в дверь родного дома в слободке, еле слышно откликнулся просевшим голосом.

Матери подсказало сердце: сразу распахнула дверь. В домике было уютно, тепло, пахло ладаном, в красном углу трепетал огонек лампадки перед святыми ликами. Только не встречал отец: однажды после настоятельской взбучки вышел из храма, шагнул еще раз-другой и упал.

Александр, долго не церемонясь, забрался на русскую печь и на жарких кирпичих лежанки тут же провалился в сон.

Пробудился он от того, что мать, взобравшись на приступок у печи, трясла его за плечо:

- Санушко, стучается к нам кто-то! Ночь ведь глухая!

Александр прислушался: то ли ветер хлопал незапертой впопыхах калиткой, то ли вправду топтался кто на обледенелых тесинах крыльца и дергал за дверную скобу.

За дверью ответили не сразу, будто раздумывали:

- Пустите, люди добрые! Не дайте погибнуть!

Серую невзрачную одежду вошедшего, от выброшенного на голову капюшона до бахил на ногах облеплял снег; незнакомец прижимал к груди окоченевшие без рукавиц руки. Александр стащил с него "наволоку", явно не по его низенькому росту, мать, охая, принялась растирать шерстяным шарфом незнакомцу белые, как снег, кисти рук.

Нежданный гость, усаженный на табуретку, прижимаясь спиной к жаркому боку печи и постанывая от боли, меж тем настороженно оглядывал горницу. Был он одних лет с Александром, по смуглому лицу с тонкими чертами, по длинным "музыкальным" пальцам угадывался скорее студент, хоть и назвался он купеческим работником, отбившимся от обоза и заплутавшим в такую непогоду.

Один глаз у него, точно заслонкой, был прикрыт бельмом, другой же, темно-карий, с "печалинкой", изучающе-неотрывно следил за хозяевами.

- Мне б только до утра отогреться, потом пойду догонять своих... Вашу доброту век не забуду!

Он и, верно, ушел, едва рассвело, и метель улеглась.

Александр, собираясь к Серафиме, скоро бы и забыл про ночного гостя, кабы днем к Надеждинским не заглянул урядник: не видали, мол, такого-то? И приметы точные назвал. С этапа арестант намеренно убежал, обыскались, но как сквозь землю провалился.

Александр, представив занесенную снегом, скрюченную от мороза фигуру на крыльце, промолчал, недоуменно пожимая плечами.

- Прощевайте тогда! - пожилой урядник, прихожанин здешнего храма, расспросами больше томить не стал, вздохнул только, подходя к двери: - Опасный преступник - вам скажу! Бомбометатель! Если что, вы уж...

На пороге он столкнулся с городовым:

- Нигде нет, ваше бродь! - доложил тот. - Может, замерз, и пургой занесло?

- Туда ему и дорога! Жаль, что не взяли...

Александр востолбенел, хотел выбежать на крыльце вслед за полицейскими, но, толкнув было дверь, остановился, чувствуя, как краска стыда начинает заливать лицо. Сначала промолчал, жалея замерзающего бедолагу, а теперь - нате, вот! - опаматывался. "Поймают его сами. И на мне греха не будет", - утешил он себя...

Но потом, уже в Санкт-Петербурге в академии, случившееся той морозной ночью все равно не давало ему покоя, засело занозой: "Он же бомбист, наверняка на совести загубленные жизни!"

Великим Постом Александр, облегчая душу, исповедовался отцу Пармену. Выслушав десятка два "академистов", тот безразлично-непроницаемо поглядывал на кающегося Александра, как механический болванчик размеренно кивал головой с реденькими волосенками, зачесанными в жиденькую косицу. Когда же Надеждинский решился упомянуть о беглом арестанте, которого укрыл, в обычно сонных глазах отца Пармена сверкнул хищно и настороженно интерес, что Александру не по себе стало.

И предчувствие не обмануло...

Спустя недолгое время, Александр, держа в руке саквояж с пожитками, добирался до вокзала: нежданная дорога домой предстояла. Его окликнул вдруг Васька Красницкий, по прозвищу Революционер, тоже на днях отчисленный из академии - маленький светлый человечек с бегающими неприятными глазками. Они торопливо, но сноровисто ощупывали Надеждинского:

- Горюешь, брат? Но дело ты стоящее сделал, проболтался вот только зря... Узналось как? Пармен?!

Александр, немного удивленный Васькиной прозорливости, растерянно кивнул.

- Одному ему на исповеди и сказал.

- Нашел кому! - Красницкий налился краской, сердито запыхтел, засопел. - Он же у начальства глаза и уши! За тем к нам и приставлен был!

Васька учился с Надеждинским на одном курсе, но Александр держался от него поодаль. Непоседе Красницкому учение давалось легко, отпрыск столичной "поповки" позволял себе на лекциях дерзить с преподавателями и подначивать их. Терпели Ваську до поры до времени; а он в какие-то тайные кружки стал похаживать, чем и прозвище себе заслужил, затесывался в демонстрации рабочих на питерских улицах и однажды неслабо получил по спине нагайками от казаков.

"Мне революционеры не нужны! Мы здесь Богу молимся, а не по баррикадам бегаем! И с господами бомбистами не знаем! - отзвук раздраженного густого баса ректора академии до сих пор гудел у Александра в ушах. - Ладно, тот олух Красницкий - хлыщ столичный, а ты куда лезешь, деревня неумытая?!"

- Даст Бог, свидимся еще! - Красницкий, привстав на цыпочки, троекратно ткнулся Александру в щеки мокрыми холодными губами и пропал в людской толчее на тротуаре.

"Он, похоже, не сожалеет, что исключили, - вздохнул Надеждинский. - Мне-то вот какво возвращаться?.."

Дома, в слободке, было привычно тихо, редкий прохожий неторопливо, осторожно брел по прихваченной утренним морозцем осклизлой тропинке; размеренно, редко позвякивал на звоннице церкви одинокий колокол - шла Страстная седмица, наставлял Великий Четверток.

В тесном, полутемном, с низеньким сводом, но зато с детства знакомом и дорогим фреской ли со святым ликом на стене или старого письма иконами храме, Александр стоял на коленях перед Распятием и молился. Прихожан было много, стояли плотно, неловко в тесноте крестились. Надеждинский чувствовал на себе их взгляды - вырос он на глазах у многих, и взоры эти были то сочувственные, то недоуменные, но ни одного - недоброежелательного и злого.

Нехорошая весть доходит ведь быстро. Ему стало еще горше.

"Господи помилуй, помоги и не оставь!" - шептал он, глотая слезы...

Серафима ждала его у калитки в церковной ограде, с тревогою заглянула в глаза:

- Приехал, а к нам не заходишь. Меня избегаешь будто...

Она ласково дотронулась до его руки, но Александр подавленно молчал и даже до дому ее не проводил, отговорился каким-то срочным делом.

- Ты к нам в Пасху-то придешь? - уже вдогонку крикнула Серафима. - Я ждать буду!

Лучше бы было не ходить в настоятельский дом, да куда себя денешь и никуда от себя не убежишь...

Не успели Александр расцеловаться и "похристосоваться" с Серафимой, как старый протоиерей, ее отец, взорвался возмущенно, только что Александра со двора не погнал в толчки:

- Мне смутьяна и каторжанцев дружка в зятя не надо! Что стоишь, впрямь оряси-на, глазки потупивши? Будто и из академии не вышибли?! Забирайся к своим каторжанцам и про мою дочь забудь!

- Тятенька, перестаньте! - попыталась утишить отца Серафима, только куда там!

- В горницу иди! Обрадела женишку-то, выскочила! - зыкнул вконец рассвирепевший протоиерей на дочь. - Не будет вам моего родительского благословения! Во веки веков!

Александр вспомнился покойный бедняга отец: то-то дрожал огоньком грошовой поминальной свечи, переживая настоятельский гнев! Да и самому бы теперь впору сквозь землю провалиться.

Серафима же поджала в тонкую ниточку губы, и в черных глазах ее строптиво заблестели гневные огоньки:

- Я тогда в монастырь уйду!

- Скатертью дорога!..

Иеромонах Александр, принявший "постриг" несколько лет назад, переживал Смуту в маленьком монастырьке под Питером.

Что ожидало впереди?..

Малочисленная братия истово молилась в храме; кто-то предложил по крепкому еще льду Финского залива податься за границу.

"На все воля Божья!" - сурово одернул ослушника старик-игумен.

Внезапно появился... Красницкий. Александр поначалу и не узнал его: сановный, в теплой широкополой рясе и алой бархатной скуфье, протопресвитер неспешно выбрался из кибитки и важно, вразвалочку, направился к храму.

- Да! Небогато у вас! - окинув беглым взглядом убранство внутри, вздохнул он и устался на Александра. Даже в заплывших сонных глазках вслед за удивлением мелькнула неподдельная радость.

- Не ждал, не гадал, что ты тут! - когда остались с глазу на глаз, проговорил Красницкий. - Не сбились бы с дороги, век бы в эту дыру не заехал! Да ладно... Я теперь член Высшего Церковного Управления, слышал о таком? Самого патриарха Тихона вот где держим! - Красницкий крепко сжал маленький, в рыжих конопушках, кулачок. - Что тебя здесь ждет? Ну, разгонят вас, монасей, и то... в лучшем случае. А у нас, "живоцерковных", епископом будешь. Поедешь в свою Вологду церковную жизнь направлять и обновлять. Тянет на родину, а?!

Когда глава "Живой Церкви" митрополит Введенский и с ним еще двое архиереев-обновленцев в Москве соборно "поставили" Александра во епископы, он опять припомнил своего, всегда униженного, дьячка-отца и громогласого хамоватого протоиерея. Не будет на приходах такого при нем, новом архиерее!..

Попутчик удивил - влез в купе вагона весь в скрипучей черной коже, козырек кепки, как у бандита - на самые глаза. Сел молча у окна и, когда поезд тронулся, спросил картаво скрипучим голосом:

- Не узнаете меня? Вы мне жизнь той давней зимой спасли!

Попутчик снял кепку и солнечные блики, отражающиеся от стекла, осветили на шлепку бельма на его глазу.

- Едем вот с отрядом разную контру шерстить, в том числе и церковную. Рад, что вы на нашей стороне...

По приезде в Вологду бельмастый комиссар со своим отрядом немедленно ушел по храмам "изымать ценности", а новоявленного епископа ждала весьма скромная

встреча. Хотя местная власть подсуетилась, и большинство храмов в городе "заняли" попы-обновленцы, немногая числом кучка раскольного священства, бывшая не в чести у прежних архиереев, подходила под благословение к епископу Александру.

А народ Божий в храмы к обновленцам не пошел! Так и служил потом новый "владыка" в аукающей гулким эхом пустоте. Отряд же Бельмастого, разоряя церкви, всякое мало-мальское сопротивление жестоко карал, и на слабые протесты "красного" архиерея там давно махнули рукой: будет лишка выделяться - и самого к ногтю прижмем!

- Что мы, ровно раскольники, творим-то, кому помогаем и способствуем?! Под чью дуду пляшем?! Господи, помоги и вразуми! - молился в своих "владычных покоях" Александр.

Весть о расправе над Серафимой и монахинями была последней каплей.

- Возомнили мы о себе, в великую прелесть впали! Надо ехать к Святейшему Патриарху Тихону и - в ноги ему, каяться!

С городского вокзала тронуться в путь Александр не решился: архиерей - не иголка, всяк заметит.

- Домчим полегоньку, надо - и до Москвы! - епархиальный кучер, вроде бы человек надежный, споро погонял пару лошадей, заложенных в тарантас.

Но отъехать от Вологды далеко не удалось. В сумерках на глухом проселке нагнал беглеца конный отряд.

- Вы мне когда-то жизнь спасли, я тоже в долгу не останусь! Возвращайтесь и будьте с нами заодно, как прежде! А про ваше бегство будет забыто, - Бельмастый выжидающе помолчал. - Нет?! Хотите умереть праведником? Не получится! Слух будет пущен, что вы, святой отец, прихватили церковное золотишко и того... втихую смотались за кордон!

В густеющих сумерках бельмо на глазу комиссара проступило явственней, зловеще.

"На кого же он так похож? - подумал Александр; страха не было. - Иуда?.. - одними губами успел еще прошептать.

Сухого щелчка выстрела он не услышал.

В разлившемся вдруг перед ним сиянии предстала радостно и светло улыбающаяся Серафима, юная, красивая, как в те далекие годы...

Священник Николай Толстик.

Листая старую тетрадь

Листая старую тетрадь
Расстрелянного генерала,
Я тщетно силился понять,
Как ты смогла себя отдать
На растерзание вандалам.
Из мрачной глубины веков
Ты поднималась исполином,
Твой Петербург мирил врагов
Высокой доблестью полков
В век золотой Екатерины.
Россия...

Священной музыкой времён
Над златоглавою Москвою
Струился колокольный звон,
Но даже самый тихий, он
Кому-то не давал покоя.
А золотые купола
Кому-то чёрный глаз слепили:
Ты раздражала силы зла
И, видно, так доняла,
Что ослепить тебя решили.
Россия...

Разверзлись с треском небеса,
И с визгом ринулись оттуда
Срубая головы церквям
И слава нового царя,
Новоявленные иуды.
Тебя связали кумачом
И опустили на колени,
Сверкнул топор над палачом,
А приговор тебе прочел
Кровавый царь-великий...гений.
Россия...

Листая старую тетрадь
Расстрелянного генерала,
Я тщетно силился понять,
Как ты смогла себя отдать
На растерзание вандалам.
О, генеральская тетрадь,
Забитой правды возрожденье,
Как тяжело тебя читать
Обманутому поколенью.
Россия!!!

Игорь Тальков.

Б е л ь к а н т о

За моим окном соловей поёт. Тёк-тёк-тёк! Тюить-тюить-тюить! Тиу! Тиу! Следом мелкой дробью и долго так: trrrrrr...trrrrrrrrrrr... Примолкает, прислушивается. Из соседнего парка другая птаха клёканье, тёканье и дробные коленца выдаёт. А потом издали следующая включается.

Соревнуются соловушки. Завораживают. Весь день перекликались, теперь ввечеру особенно звонко. Иные птицы уж умолкают, а для моих раздолье. В ночи только их и будет слышно.

Все окна настезь!

Ночью всё соловьи щёлкали, то сонно, то раскатисто переливчатыми трелями заливались, к рассвету умаялись. А тут и первые синички пробудились: тенькают хрусталём. Солнце в небо поднимается, всё оживлённое птичий гомон. Сначала пытался знакомых птах признать, но такой занялся перезвон ликующий несмолкаемый, что бросил я эту затею. А солнышко всё выше, вот уже стрижи пронзительно зазвенели, скользят в поднебесье, и слышна их радость над всеми голосами.

Первое «ку-ку» в звенящем весеннем гвалте дождался. Вещунья кукушечка кукнёт и эхо слушает, уж и тревожишься, потом как заводная зарядится, откукивает несчётные сроки, уши наостряешь, а она: мало? а вот ещё тебе, слушай-слушай, дурачок, ку-ку, ку-ку, ку-ку, ку-ку, ку-ку...

Из сборника **СОПРИКОСНОВЕНИЕ**

Александр ГЕРАСИМОВ

Фразы дирижеров, или как ругаются интеллигентные люди:

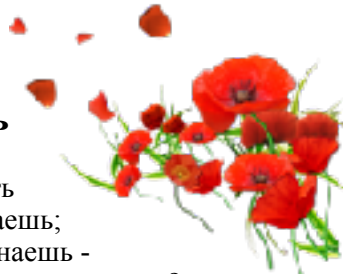
“Остались всего три репетиции до позора!”



10-ая Заповедь

Добра чужого не желать
Ты, боже, мне повелеваешь;
Но меру сил моих ты знаешь -
Мне ль нежным чувством управлять?
Обидеть друга не желаю,
И не хочу его села,
Не нужно мне его вола,
На все спокойно я взираю:
Ни дом его, ни скот, ни раб,
Не лестна мне вся благостыня.
Но ежели его рабыня,
Прелестна... Господи! я слаб!
И ежели его подруга
Мила, как ангел во плоти, -
О боже праведный! прости
Мне зависть ко блаженству друга.
Кто сердцем мог повелевать?
Кто раб усилий бесполезных?
Как можно не любить любезных?
Как райских благ не пожелать?
Смотрю, томлюся и вздыхаю,
Но строгий долг умею чтить,
Страшусь желаньям сердца льстить,
Молчу... и втайне я страдаю.

А.С. ПУШКИН.



СТАРЫЙ ДОМ НА ГОРЕ

Старый дом на горе,
голубыми поющие сени.
Как веками велось,
на Божнице – Спасителя лик.
Здесь когда-то надеждой
так густо дышали сирени,
и созвездия счастья
плескал сквозь купавы родник.
На столе - самовар,
бузиною начищен до блеска...
Жизнь, как день, отцвела,
вечер выпит до дна.
По привычке рядом –
птицы райские на занавесках,
Только нитки поблёкли,
а солнце затмила луна.
Старый дом, где слышны
по ночам моих пращуров речи...
Всё наследство –
три карточки да полинялый рушник.
Только нет им цены,
как навеки утраченной вещи...
Ведь предать память сердца –
засыпать землёю родник.

Татьяна ГРИБАНОВА.

"АНЧОУС"

Бабушка выросла словно из-под земли. Не было - и вот она. Он еле успел нажать на тормоз. Мощный автомобиль, взревев, словно укрощённый хищник, остановился.

Дмитрий Викторович выскочил на улицу. На языке много чего вертелось. Он уже рот открыл, но вдруг замолчал.

- Доброго здоровьичка, внучек. Торопись куда, поди? - незнакомая бабулька бесхитростно улыбалась.

Глаза будто прозрачные голубые леденцы. Выцветший платочек с цветочками, ситцевое платьице. На ногах - галоши. Поправила натруженными руками седые волосы, ещё раз улыбнулась. Улыбка была совсем детская, даже такие же беззащитно-розовые дёсны, как у младенцев.

Дмитрия Викторовича уважали коллеги и побаивались партнёры. Он был жёсткий, бескомпромиссный, ничего не боялся. Считали, что идёт по головам и чужды ему человеческие эмоции. И будь на месте бабушки кто-то другой, не миновать бы тому человеку всей глубины его гнева.

Но где-то в глубине Дмитрия Викторовича жил мальчик Митя. Обожающий свое детство и бабушку Липу. К ней мальчика на всё лето привозили родители. Он спал в пологе. Просыпался, когда аромат от бабушкиных блинчиков и пирожков разносился по всему дому. Соскакивал и бежал к ней по деревянному, тёплому от солнца полу. Бабушка прижимала его к себе, обнимая руками, ещё в муке, которые вытирала о передник.

На столе стояла кружка с парным молоком. А потом они шли в поле. И облака проносились низко, качались васильки. На горизонте паслась коровка Бусинка. А рядом шёл конь Звездочёт. Вечером бабушка рассказывала сказки. И можно было выйти на крыльцо, послушать звуки ночных гостей, как она их называла. Что-то светилось в траве, кто-то шуршал. И не было никого счастливее Мити в тот момент...

Поездок к бабе Липе он всегда ждал. Его утончённая и модная мама моталась по курортам. Отец, крупный чиновник, пропадал на работе. У мальчика было всё: игрушки, поездки, исполнение любых желаний. А ему хотелось поскорей в деревню к бабушке. И он не мог понять в тот день страшных слов по телефону: бабушка Липа умерла.

Как это? Баба Липа не может умереть! Как без неё будут Бусинка и Звездочёт? Ночные светлячки? Как без неё будет он, Митя?

- Какая выдержка у мальчика! Стоит и даже не плачет! Собранный такой! - удивлялись на похоронах знакомые.

Дима попросился туда, как не отговаривали его отец и мать. Боль изнутри ломала, била, выворачивала. А внешне он стоял твёрдо, даже не плакал. С бабой Липой уходило всё, что было ему так дорого...

С тех пор изменился и его характер.

Прошли годы. И вот ему 35 лет. Он ехал в аэропорт, ждал полёт по делам. Но вдруг вспомнил просьбу своего друга, егеря Сергея. "- Отправь телеграмму, Дим. Это очень важно. Я сам уже не успеваю, в лес надо. Дозвониться до своих не могу. Это тётке моей. Связь у них частенько не ловит. Отправь, прошу. Только не забудь!" - просил Сергей.

Дмитрий Викторович ничего не забывал. Но закрутился с новым контрактом. И... почему-то забыл. Вспомнил уже по дороге...

Глянул на навигатор: населенный пункт с незнакомым названием. Не то город, не то поселок. Он ещё успевает к самолету, время есть. Отправил телеграмму, сел за руль и помчался в аэропорт.

И вот тут-то, как из-под земли и появилась та бабуля...

Она была очень похожа на его бабушку. Или ему так показалось? Все бабушки похожи друг на друга ощущением безграничного счастья и того, от чего щемит в груди и хочется улыбнуться.

- Вы чего же так... Неосмотрительно вышли на дорогу. Я мог задавить вас. Тут нет перехода. А я тороплюсь, да. На самолёт, - вздохнул он.

- Внучек! Помоги мне, пожалуйста! - вцепившись в рукав его пиджака, попросила старушка.

Дмитрий Викторович глянул в сторону машины. Кошелёк был там.

- Сейчас. Сколько денег нужно? - спросил он.

- Денег? Каких денег? Нет, что ты, милый! Этого не надо! Помоги мне Анчоуса найти! - бабуля по-прежнему не отпускала его руку.

- Анчоуса? - вскинул он бровь.

В голове тут же сложилось: пожилая женщина потеряла собаку. Но... у него нет времени её искать.

- Бабушка! Вы покричите его! Прибежит. Или к дому придёт. У вас тут всё рядом, никуда не денется ваш Анчоус!

Дмитрий Викторович посмотрел на часы. Время еще было.

- Матрёна Митрофановна меня зовут. А тебя как? – не отставала старушка.

- Дмитрий Вик... Митя, - глухо произнёс он.

Так давно его никто не называл. Зачем он сейчас вспомнил и назвал свое детское имя? Непонятно.

- Митенька... У меня так мужа звали. Митенька, помоги мне, а? Ножки не держат, так расстроилась. Анчоус-то всё, что у меня осталось! Мужа схоронила давно уже. Дочка с внучкой разбились в то лето... Никого нет теперь. Только он! - бабушка принялась утирать слёзы краешком платка.

Дмитрий Викторович снова взглянул на часы. Если он будет ехать быстро, то в принципе, время еще есть.

- Садитесь в машину. Сейчас объедем улицы! У вас их не так много! Прямо пасторальная идиллия, а не место! Все зелёное, в цветах! – он помог старушке сесть в машину.

Прокатились они быстро по улицам. Только Анчоуса так и не нашли.

- Спрятался, наверное. Матрёна Митрофановна, послушайте, у меня самолёт. Я вообще бы в ваши края не заехал, но вспомнил про телеграмму. Всем что-то срочно нужно здесь. Другу Сергею телеграмму, вам вот Анчоуса найти. Давайте сделаем так. Вы его ищите, продолжайте. А я вам свой телефон напишу, хорошо? Приеду, помогу если что. Не плачьте вы! Хотите, если не отыщете, я вам корги куплю? - предложил Дмитрий Викторович.

- Какие корги? Зачем они мне? У меня свои дома есть! Сушу на печке! - всплеснула руками Матрёна Митрофановна.

- Нет, вы не поняли. Корги - это собачка. Как у английской королевы! Хотите? - усмехнулся молодой мужчина.

- Нет, внучек. Не надо мне корги эти. Какая я королева? Мне бы Анчоуса! Окромя его никто не нужен! - бабушка продолжала доверчиво смотреть на него.

Они на улицу вышли. Раскалённым апельсиновым шаром висело в небе солнце. Пахло скошенной травой и мёдом. Дмитрий Викторович положил визитку бабушке в карман. И пошёл к автомобилю. Краем глаза заметил, что старушка вначале бросилась за ним, потом остановилась.

Сел за руль. Ему нужно срочно на самолёт. Он опоздает, а там новый контракт и деньги. Он ещё успевает, если будет ехать очень-очень быстро.

Перед тем, как тронуться, посмотрел в сторону бабушки. Она стояла и плакала, опустив голову. Вытирала слёзы краями платочка. Встретилась с ним взглядом через открытое окно.

- Храни тебя Бог, Митенька! Ты и так много времени на меня потерял! Сама поищу! Господь в помощь! - помахала ему рукой старушка.

А он сквозь это лето и солнечные блики вдруг увидел заснеженную зиму. И бабушка Липа махала ему так же рукой, пока не скрылась за снежной пеленой. Больше он её не видел...

Да, у него контракт и деньги на кону. А у неё, у этой старушки - что? Пустой дом без близких? Загадочно исчезнувший Анчоус, в которой сосредоточены вся жизнь и любовь? Не может он уехать. Это будет предательством. По отношению к этой старушке Матрёне Митрофановне. По отношению к своей бабушке Липе...

Дмитрий Викторович вздохнул. Машина плавно тронулась, он её в стороне поставил. Пошёл по направлению к старушке, грустно подумав, что сделка уплыла. И его друзья, и знакомые не поверили бы, если бы увидели, что он творит. Но так надо. Так правильно.

- Ты чего это... Не нужно ехать-то? - старушка снова схватила его с надеждой за рукав.

- Теперь уже не нужно. Ну что, давайте, вашего Анчоуса искать!

- Ты называй меня на «ты», внучек. Можно - бабушка Матрёна. Меня внучка звала «баба Матрёшка». Прости, Митенька, что задержала тебя. Но я не могла иначе! - всхлипнула бабушка.

Дмитрий Викторович, повинувшись порыву, прижал её к себе. Так они и стояли какое-то время. Шикарно одетый молодой мужчина и простая деревенская старушка, незнакомые до сегодняшнего дня.

А потом долго бродили по улицам. И баба Матрёна всё кричала: «Анчо-о-ус!». Домой к себе позвала, мол, он притомился, поди.

Домик был маленький. Внутри бедно, но чисто. Дмитрий Викторович пообещал себе мысленно бабуле помочь...

Вязаная ажурная скатерть на круглом столе. Самовар и верёвочка баранок. Банка с молоком. Разноцветные коврики. На стене - фотографии. Седовласый мужчина с ямочкой на подбородке. Молодая женщина, прижимающая к себе зеленоглазую девчущку. Семья, её семья. Рядом иконы.

- Садись, Митенька. Молочка хочешь? Козьего? У меня Морoshка живет. Вот от неё молочко! Пирожки вон тут, под полотенцем. С картошкой, с капусточкой. Кушай, милый. Ты что-то бледный такой мне вначале показался! - погладила его по светлым волосам бабушка Матрёна.

Он улыбнулся. Впервые не дежурно, а от души. Это было то же самое молоко, родом из детства. И пирожки такие же, как у бабы Липы. Он перестал есть выпечку где-либо. С тех пор, как не стало бабушки. Потому что всё казалось пресным и невкусным. Пришло и долгожданное ощущение покоя. Даже спать захотелось. Ему давно не снились сны. И все время было ощущение гнать, бежать куда-то, успевать...

До этого момента Дмитрий Викторович не понимал, как сильно всё-таки устал. И не хватало этих разговоров, тёплых, по душам. Потому что не доверял даже тем, с кем дружил. Отец и мама его, конечно, любили, как и он их. Но того тепла, что было с бабушкой, не доставало. И вот теперь оно возвращалось.

- Баба Матрёна, пойдёмте дальше искать пропажу вашу! - Дмитрий Викторович поднялся.

Странно, но в доме и на крохотной кухоньке он не увидел собачьих мисок. Но решил, что из-за хорошей погоды вышеупомянутый Анчоус мог заниматься перекусами во дворе.

На одной из улиц им повстречалась дородная дама в красном платье с розами. С любопытством зыркнула в их сторону и остановилась:

- Здорово, Митрофановна. Слушай, ко мне тут опять сын приехал, да внучата, как хорошо-то!

Дальше полился поток информации про неведомого сына и внучат. Баба Матрёна кивала. Дмитрий Викторович стоял рядом. Пиджак он оставил в доме. Тёмно-синие брюки, белая рубашка. Соседка, выдав новости, ещё раз взглянула на него и не удержалась:

- А это... Кто это с тобой, а? Митрофановна?

Баба Матрёна молчала. И чей-то голос, в котором он узнал свой собственный, вдруг произнёс:

- Я внук. Митя. Будем знакомы!

Соседка охала и ахала, даже чуть сумки не уронила. И устремилась куда-то вниз по улице, остановив случайную прохожую и отчаянно жестикулируя в их сторону.

Баба Матрёна робко улыбнулась и погладила Дмитрия Викторовича по руке.

Так они и шли. Старушка и бизнесмен. Вдруг из-за поворота выбежал гусь. Он размахивал крыльями, гогоча. Старушка охнула и кинулась к нему навстречу. Птица обнимала бабу Матрёну, норовя положить голову ей на плечо...

- Митенька! Иди сюда! Нашёлся, слава Богу! Митенька, вот он! Анчоус мой! - приговаривала старушка.

Дмитрий Викторович рассмеялся. Нет, этого не может быть! Гусь! А собственно, с чего он решил, что Анчоус - собака?

- Умница он у меня такой! Гусёнком еще так привязался, что верный дружок стал! По пятам ходит. Гуси и людей запоминают, и дорогу без труда найдут. Оттого и перепугалась я, когда он пропал сегодня. Никогда и никуда не уходил! А дом он знаешь, как охраняет! Не хуже собаки! А назвала его так, что он анчоусы любит, неизвестно почему. Все удивляются. Гуси же травку щиплют. А этот вот особенный.

Схватит анчоус - и бежать. То ли ест, то ли прячет куда, - радостно делилась впечатлениями бабушка Матрёна.

К дому бабушки Матрёны они втроём шли. Важно ковылял впереди Анчоус.

Свой телефон Дмитрий Викторович в пиджаке оставил.

Взял в руки: 70 пропущенных звонков от мамы. Что-то случилось? Он не успел набрать её номер, как сотовый ожил...

- Кто это? Сынок?! Дима?! Сыночек!!! Где? Как??? Дима, это правда ты, родной?!!! – плакала мать.

Он никогда не замечал у неё таких эмоций и пробовал что-то сказать. Но в ответ слышались лишь рыдания. Наконец раздался какой-то звук и в трубке послышался дрожащий голос отца.

- Дима! Димочка! Сыночек! Как же так? Где ты, сынок? – и отец заплакал тоже.

- Папа! Да что случилось? У вас что-то? С мамой? Папа, не молчи! – крикнул он.

- Самолёт... Самолёт упал, Дима. Тот, на котором ты лететь должен был. Мы думали, ты погиб, мама упала сразу... Как??? Где ты, сынок??? Мы выезжаем. Дима, это же чудо, что ты жив!!! – отец и мать, вырывая друг у друга телефон, говорили одновременно.

Ему внезапно стало трудно дышать. Расстегнул верхние пуговицы. Вышел на крыльцо. На скамеечке перед домом, протягивая ему горсть ягод, сидела бабушка Матрёна. Важно обходил свои владения гусь Анчоус.

- Папа, я у бабушки. Нет, не в бреду я. Не волнуйся! Вы приезжайте с мамой сюда!

Он не плакал с 8 лет, с того дня, как прощался с бабой Липой. Но сейчас солёные капли текли по щекам. А бабушка Матрёна суежилась рядом, вытирая их платочком.

- Пап, со мной всё хорошо. Я вас так люблю! Знаешь, у нас теперь снова есть бабушка! Её Матрёна зовут. Я жду вас с мамой! – продолжил Дмитрий Викторович, вдруг почувствовал себя ребёнком, а не идущим напролом сильным мужчиной.

И склонился перед Анчоусом, который в ответ нежно обнял его двумя крыльями, наклонив голову на плечо. Рядом крестилась бабушка Матрёна...

Галя Прогово. Пятигорск.



ТОНКОСТИ РУССКОГО ЯЗЫКА

Борщ пересолила, с солью переборщила.

Сел в автобус. Стою.

Только в русском языке матом можно обидеть человека, но и похвалить.

Языковой "взрыв" для иностранца:

– Есть пить? – Пить есть, есть нету...

Русский мат - это такой бесплатный стрессосниматель.

Как перевести на другие языки, что "очень умный" – не всегда комплимент, "умный очень" - издевка, а "слишком умный" – угроза?

Парадокс русского языка: часы могут идти, когда лежат, и могут стоять, когда висят.

Богатый русский язык: писатель пишет, ученик списывает, директор подписывает, писарь переписывает, врач прописывает, следовательно записывает, инспектор выписывает, пристав описывает.

Сдержал слово - молодец, а ведь могло и вырваться!

Второй век иностранцы ломают голову над переводом фразы "Страшно красивая"...

Не речные пороги...

Не речные пороги бурлят,
Не прибрежные плещутся воды:
Заунывно в толпе голоса
Об отсутствии в жизни свободы.

Море лжи! Наша птица-мечта
В западне удовольствий и лени.
Повсеместна в сердцах нищета
От теснот городских поселений.

До безумия буйных голов,
До рекламы и пошлого смеха,
До традиций чужих языков
Унижаются ради успеха.

Вековечный завет праотцов
Позабыли и дети, и внуки.
Тихой песни родных берегов
Не хранят души долгие звуки.

Всё видится, будто сполна
Окаянством наполнены годы.
Будто правда во лжи так скромна,
Что о ней позабыли народы...

А. Лазутин.

Воробушки

В детстве я слышал, как просыпаются воробьи. Их гнездо было за верхним наличником окна. Воробушки чувствовали приближение рассвета: копошились, сонно чивкали. На восходе, даже раньше, боясь пропустить первые лучи, выпархивали из тесного укрытия на край наличника и, шумно востепенувшись, чистили пёрышки. А как только из горизонтов чуточку пробивалось солнце, начинали скакать, громко чирикать. Вот всем бы просыпаться с воробьиным восторгом!

Под окном рос куст черёмухи, посаженный мамой. Воробьи всего двора слетались на него, прыгали по веткам, задирались, ссорились, разлетались, тут же возвращались. Мне казалось, что они нас развлекают, это у них понарошку. На самом деле очень дружны: если воробушек увидит угощение - хлебные крошки, зёрнышки, - подлетит, бочком-бочком подскочит, клюнет разочек и тут же сорвется за товарищами, - уже в шумной компании приступит к трапезе. Конечно, когда гоняется за порхающей капустницей, подмогу не зовёт. Но и не себе он ловит, а птенчикам. Бабочек, червячков, гусениц воробьи выискивают исключительно для своих детишек-воробушек. А кормить ещё голеньких начинают зелёной сладкой тлём: с листьев собирают её в липкие пучочки и к гнездам спешат. Только и успевают от зари и до зари без продыхов и остановок крутиться взад-вперёд туда-сюда: голодных желторотиков в гнезде бывает с десяток. И как только сил не лишаются да на крыльях держатся? Мы бы от изнурения умотались, упали наземь и лапки отбросили.

При неустанной колготне-заботе растут воробьята быстро. И уже через две недели покидают гнёзда для первых полётов. Короткокрылые почти бесхвостые птенцы перелетают на ветки, потом на землю. Прыгают рядом со старшими, но не самостоятельны: клювики восковые и всё ещё жёлтые, - мамы с папами продолжают потчевать своих взъерошенных чад, а те размерами кажутся больше родителей.

Если присмотреться, различать птичек не сложно. Птенцы посветлее: пушистые без пёстреньких перьев. У взрослой воробухи серые голова и шейка, над глазом бледно-жёлтая полоска. А у воробья на горлышке и груди большое чёрное пятно, темя тёмное. Хлопотливые и удивительно смелые создания. Не раз видел, как стайкой и в одиночку отважно защищают своих деток от нападения сорок и ворон. Не думая о себе, в безрассудном отчаянии набрасываются даже на свирепеющих в охоте кошек.

Спросите, к чему мой незатейливый рассказ? Так ли необходимо отличать воробья от воробухи? Вы при случае о том малышам расскажите, уверяю, им занятно будет. Да и не только малым занимательно.

Давайте найдём часок, присядем на лавочку, покрошим перед собою из батона. Не важно в какое время года. Солнечно будет или хмарно, затишно или ветрено, - прилетят воробушки. Впорхнут, подскочат бочком, в глаза глянут: с добрым ли намереньем? Ухватят кусочек, отпрыгнут, отлетят в сторонку. Потом вновь вернуться, уже и поближе к нашим ногам. Они недоверчивы, жизнью тёртые, но хорошего человека распознают, могут и с ладони поклевать. Рискнём, проверим себя. Только, если не случится, на воробушков не будем обижаться, лучше задумаемся - что в нас не так.

Воробьи, воробушки... Всегда рядом с нами: за наличником окна маминого дома... у пасхальных куличей на погосте...

Александр ГЕРАСИМОВ

Из сборника СОПРИКОСНОВЕНИЕ



Не лыком шит

Все мы знаем, что лыко - это липовая кора, из которой на Руси плели различные короба, лапти и туеса. Как правило, обувь из лыка носили только бедняки, отсюда и пошло это выражение. Догадались? Правильно, оно означает, что человек не из бедных, что он состоятельный и может позволить себе более дорогую обувь из других материалов.

Привидение из Лоуфорд-Холла

(правдивая история)

Прошло без малого тридцать лет с той поры, как мы с мужем - то было вскоре после нашей свадьбы - посетили Лоуфорд-Холл, старинное поместье неподалёку от Рэгби, повидать которое мне хотелось давно. Припоминаю, что я добиралась туда одна, на почтовых из Ковентри - города, в окрестностях которого мы накануне остановились. Муж мой уехал двумя днями раньше: здесь в графстве Уорвик, проводились скачки, и на них семейство Лоуфордов выставляло своего любимого скакуна. На следующий же день мужу предстояло вместе со старым баронетом отправиться на охоту в его имение. Погода была тоскливая, шёл дождь, и в доме, где мы тогда остановились, я отыскала в библиотеке старую книгу судебных записей, в ней мне встретились кое-какие сведения о Лоуфорд-Холле.

В течение трёх часов в укромном уголке старой комнаты елизаветинской эпохи, где кавалеры на портретах в стиле Ван Дейка, казалось, страстно желали выйти из своих рам, чтобы побеседовать со мной, я сидела, погружившись в чтение странного и ужасного дела об отравлении, шестьдесят лет назад потрясшего всё графство Уорвик. Бывают дни, когда мозг становится необыкновенно восприимчив к разного рода впечатлениям. И все подробности того преступления по какой-то странной причине предстали перед моим внутренним взором или, вернее сказать, оказались запечатлены зрительной памятью с чёткостью и живостью почти болезненными.

Я как бы видела огромную драпированную кровать с балдахинном, на которой лежал богатый вельможа. А вот худая, в манере Хогарта фигура его младшего сводного брата в костюме той эпохи - он крадётся в тени широкой дубовой лестницы. Вот я вижу, как он проходит мимо кровати больного к камину, на котором длинным рядом составлены склянки с разного рода снадобьями. Вижу, как его дрожащая, тонкая и бледная рука, окаймлённая кружевами, наполовину выплёскивает содержимое одного из фиалов и наливает в него лавровую воду, которую он с жестоким тщанием только что приготовил, запершись у себя в комнате. Я слышу страшный крик умирающего в тот миг, когда сводный брат склоняется над ним. Мне слышен также стук копыт - это лошадь доктора мчится рысью по Рэгби-роуд. Мне видится строгое лицо человека в чёрном, когда он, стоя у ложа, приподнимает холодную, как бы вылепленную из воска голову и опускает её с короткими торжественными словами:

- Слишком поздно. Он умер!

Затем я следую за врачом в кабинет, и здесь убийца с лицемерной печалью общается ему вымысел о причинах случившегося с братом приступа и с дьявольской ловкостью предотвращает осмотр тела. Потом я вижу, как отравитель идёт по тихому осеннему саду. Вот он проходит мимо лавра, с которого накануне сорвал роковые листья, и смотрит на него с горькой усмешкой. Теперь он останавливается, и я слышу, как он с ликованием говорит старому садовнику, который отдыхает, опершись на лопату:

- Теперь-то уж для старых слуг наступят лёгкие дни, не то, что при сэре Эдварде. Долго я трудился, чтобы стать владельцем Лоуфорд-Холла, и этот день, наконец, наступил.

Вот я вижу, как он вздрогнул, получив письмо от сэра Вильяма, друга погибшего. Сэр Вильям жёстко и непреклонно настаивает на необходимости осмотреть тело умершего. Шаг за шагом я следую за вкрадчиво говорящим, жестоким негодяем с кошачьими повадками, пока наконец не оставляю его в наручниках на тонких запястьях. Вот он поднимается в тюремную повозку, и его везут на виселицу в Уорвик. Всё это время он непрестанно лжёт, упрямо отрицая свою вину, хотя следствие уже собрало несчётное множество улик, и те неопровержимо изобличают его как убийцу брата. Вот ещё я вижу, как в ночь накануне казни, когда его суровые стражи спят, он - столь редко склонявшийся пред Богом - украдкой встаёт с кровати и падает на колени. Сложив закованные в цепи руки, он со страстной мольбой обращается к Верховному Судии, и мне хочется надеяться, что хотя бы в этот последний миг он обретает Божье прощение.

Подобные сцены снова возникли перед моим мысленным взором, когда почтовая карета, в которой я ехала, свернула за Ньюболдом на дорогу к Литтл-Лоуфорду. После нескольких часов сильного дождя опять засверкало солнце. Свет играл на пожелтевших листьях лип и отражался на мокрой крыше старого дома. Это было большое мрачное здание, одна половина оказалась построена в стиле Тюдоров, другая - классическая. Его большое елизаветинское крыльцо неприятно контрастировало с безобраз-

ными квадратными окнами эпохи короля Георга, делавшимися ещё более неприглядными из-за того, что они перемежались живописными нишами. Чувствовалась особая прочность в тяжёлых каменных переплётах, и даже лёгкие современные рамы на окнах - последнее голландское изобретение - не могли поколебать её.

Я с сожалением подумала о том, что этот старый дом был столь неудачно отремонтирован. Справа от крыльца помещалось старинное окно в тюдоровском вкусе, которой особенно поразило меня. Оно было увито виргинским плющом, и листья его сделались уже почти алыми. В ту минуту, когда я взглянула на это окно, сцены из старой жизни, связанные с когда-то совершённым здесь преступлением, вновь завладели моими мыслями. Именно под этим окном стоял отравитель в то роковое утро, и весело, беззаботно звал сестру, чтобы узнать, готова ли она к верховой прогулке перед завтраком. Сестра только что вышла из комнаты больного брата. Она дала ему той отравы, которую приняла за лекарство; больной, казалось, уснул. Направляясь из его комнаты к себе, она через окно в коридоре услышала, что сводный брат зовёт её со двора.

- Я буду готова через четверть часа! - крикнула она в окно. Тогда младший брат, отойдя от окна, неспешно двинулся к конюшне, сел на свою уже осёдланную гнедую кобылу и поскакал в Уэльс. Через пять минут сестра вернулась в комнату старшего брата и застала того в предсмертных судорогах.

Пока почтовая карета подъезжала к парадному крыльцу, я заметила справа небольшой дворик, о котором также читала накануне. Он был огорожен с двух сторон, большие железные ворота вели в сад. Именно там отравитель беседовал с двумя арендаторами, пришедшими навестить его больного брата, а потом направился готовить вытяжку из лавра.

Как ни величествен был этот дом, охраняемый липовой аллеей и обширными садами, мне невольно казалось, что над ним всё ещё тяготеет проклятие. Во всём облике дома было что-то зловещее, злополучное. Оно действовало на моё слишком бурное воображение и вызывало томительное предчувствие надвигающейся на меня неотвратимой беды. Такое ощущение можно сравнить с тем громким и жалобным звуком, какой издаёт большой колокол, когда его вытаскивают из гнезда: звук этот отдаётся скорбным эхом по бесконечным переходам и, кажется, не кончится никогда.

* * *

Обед получился скучный. Леди Лоуфорд в Париже показавшаяся мне такой восхитительной, очаровательной и живой дамой, выглядела теперь удручённой своими обязанностями графини-хозяйки и никак не могла в одиночку развлечь собравшихся за столом местных знаменитостей. Мне казалось при этом, будто на неё невесть откуда обрушилось какое-то скрытое беспокойство, какая-то тайная печаль. Она была рассеянна, часто впадала за столом в неловкое молчание. Врач, адвокат, пастор, две-три старые девы и несколько застенчивых дочерей деревенских помещиков - вот те люди, которых ей надлежало развлекать; и пока что она в этом не преуспела.

Место, где проводились конные состязания, находилось весьма не близко, и поэтому наши с нею мужья ожидали только к позднему вечеру. Пару раз за обедом леди Лоуфорд сильно встревожила меня, упомянув, что по дороге домой им предстояло проехать по довольно опасному месту. Но она, тем не менее, надеялась, что всё обойдётся благополучно. Уже мы, женщины, собирались встать из-за стола, к явному удовольствию врача, пастора и адвоката, когда в холле вдруг послышался шум голосов, топот ног, а затем чей-то стон. В ту же минуту в залу поспешно вошёл сэр Эдвард Лоуфорд в забрызганном грязью алом сюртуке. Он был бледен и взволнован, одна рука у него висела на перевязи.

- Господин Добсон, - сказал он, обращаясь к врачу, который весь напрягся, - нам незамедлительно требуется ваша помощь. Бедняга упал с коня и сильно ушибся.

Когда же он увидал меня, лицо его приняло ещё более строгое выражение.

- Моя дорогая миссис... - сказал он, подойдя и беря меня за руку. - Вам не следует волноваться. Спору нет, ваш муж упал с лошади. У него повреждено плечо и, может статься, одно из рёбер. Но всё, я думаю, обойдётся.

Больше я ничего не помню: мне рассказали потом, что я тут же лишилась чувств. Нервы у меня от природы, надо сказать, крепкие, но со слов сэра Эдварда мне сразу стало ясно, что с Джорджем случилось несчастье и что он опасно ранен. Так оно в действительности и оказалось.

* * *

Лишь через неделю жизнь моего мужа была вне опасности. У него оказалось вывихнуто плечо и сломаны два ребра. Кроме того, при падении он сильно повредил колено. Я сидела, не отходя от него ни днём, ни ночью, и сама давала ему лекарства; необходимо было заглушить боль, вызванную вывихом и переломами, а также сбить температуру. Если б не обезболивающее, он не смог бы забыться столь необходимым для него сном.

Припоминаю, что только на девятый день после случившегося несчастья, бледная, встревоженная и измождённая, я смогла впервые спуститься вниз и занять своё место за обеденным столом. Мне было очень грустно и одиноко, хотя сэр Эдвард - сама внимательность и сердечность - неустанно оказывал мне всяческие знаки внимания и на все лады выражал сочувствие.

- Как всё это прискорбно. И как некстати! - заявил он. - Надо же этому было случиться в самом начале охотничьего сезона. Уж хотя бы в конце, тогда бы не так обидно было. Я как раз собирался показать сэру Джорджу, какая у нас тут славная охота. Да! Передайте ему, бедняге, когда подлечится, что нам пришлось пристрелить Пенелопу: она тогда сломала себе ногу. Впрочем, по мне, лучше застрелить всех своих лошадей, лишь бы гости были целы и невредимы.

- Теперь, уверяю вас, опасность уже позади, - вмешался в наш разговор сельский врач, похоже, постоянный гость на всех обедах в Лоуфорд-Холле. - Клянусь врачебной честью, сударыня, что если только супруг ваш будет следовать всем моим предписаниям, то мы сможем поддерживать искусственный сон, не причиняя вреда системе кровообращения и органам пищеварения.

- Ох, уж эта мне верховая езда, сэр Эдвард! - заметил столь же непременный при этих застольях пастор. - Она, скажу я вам, изрядно походит на скачки царя Ииуя, сына Намессия. Именно так. Явление это делается всё более распространённым среди нашей сельской аристократии, и оно, уверяю вас, будет сопровождаться куда более страшными происшествиями. Где вы достаёте столь отменное мозельское, сэр Эдвард?

Равно необходимые за таким обедом старые девы издавали свои обычные восклицания, с тем же успехом приложимые к чему угодно:

- Как неприлично! Это просто возмутительно! О, Боже, даже страшно об этом подумать, дорогая!

Я терпела всё это, насколько хватало сил, но этот длинный, томительный вечер - казалось, он длится уже целое столетие - невольно располагал к тому, чтобы после целый год провести в затворничестве. Ох уж эта соната Бетховена, которая никак не желала кончаться! С какой беспощадной точностью отбарабанила её добросовестная дочь пастора. О, убийственная скука строго-научной игры в роббер, на которой я присутствовала уже словно во сне. В конце концов, игра начала усыплять и остальных. Сэр Эдвард утомившись днём во время охоты на лис, заснул при раздаче карт, и я внутренне возликовала, когда лакей наконец-то объявил, что чей-то экипаж подан. И тут леди Лоуфорд сказала:

- Думаю, мы все уже засыпаем, поэтому, может быть, лучше пойти спать?

«Неужели это та самая леди Лоуфорд с которой я познакомилась в Париже?» - подумалось мне, когда я поднималась по старинной дубовой лестнице, с опаской поглядывая на собственную тень. Я вошла в длинный коридор - жилой в нём была только одна наша комната. Жалким и печальным оказалось наше пребывание здесь. Если когда-то в доме этом и было совершено преступление, то неужели же тень его должна омрачать жизнь всех последующих его обитателей? Я не могла понять перемены, происшедшей в людях, которых знала прежде такими весёлыми и приятными, и тщетно искала её причину. Можно было ожидать, что они окажутся расточительны, поскольку жизнь их - нескончаемая круговерть развлечений; но того, что они будут до такой степени измучены заботами, скукой, я не могла себе и представить. В самом деле, можно подумать, будто тем стародавним убийцей был отец сэра Эдварда, а не какой-то далёкий и бездетный двоюродный дед. О, только бы с Джорджем всё было хорошо! И я подумала, что нам следовало бы поскорее уехать из этого ужасного места.

Последние слова, как оказалось, я, задумавшись, произнесла вслух, когда открывала дверь спальни. Я сказала их так громко, что испугалась, не разбудила ли Джорджа. Но он крепко спал, дыша с трудом и положив забинтованную руку поверх стёганого одеяла. Лампа в комнате не была зажжена, но в камине горел огонь, и весёлые тени от него плясали на потолке. Пузырьки с лекарствами были составлены в ряд на камине;

заботливый слуга на маленьком столике оставил для меня варенье, немного мяса и фруктов.

В изнеможении я опустилась в большое резное кресло, стоявшее подле камина, и прислушалась к дыханию мужа. Кроме этого звука да размеренного тиканья часов в коридоре, ничего не было слышно. В дальнем крыле дома вдруг хлопнула дверь, и послышался звук задвигаемого засова. После этого весь дом, казалось, погрузился в глубочайший сон. Стало тихо, как в фамильном склепе. Один раз ветка клематиса постучала в стекло, словно фея, умолявшая, чтобы её впустили в комнату. Другой раз поток холодного воздуха, неизвестно откуда взявшийся и куда затем девшийся, вполз из-под двери и, незримый, холодной струёй пронёсся по комнате подобно привидению. Прошло ещё с полчаса, я всё сидела и прислушивалась, но вот внезапно ветер с улицы забрался в большую трубу нашего камина и тревожно зашумел в ней, а потом затих, как бы успокоенный таинственной силой, которой не мог противиться.

Я смотрела на огонь, задумавшись неизвестно о чём, и ждала, когда, наконец, наступит половина второго, чтобы разбудить Джорджа и дать ему укрепляющее питьё. И тут мой взгляд упал на картину, висевшую в ряду других портретов. Раньше я не обратила на неё внимания, поскольку этот портрет висел в том углу комнаты, который даже днём оставался тёмным из-за того, что находился в тени от тяжёлых алых штор. Но сейчас огонь из камина полностью осветил портрет, и я смогла разглядеть нарисованное на нём лицо так же ясно, как если бы на него упал луч солнца. Там был изображён мужчина лет тридцати. Черты лица были твёрдыми и довольно резкими, вольтеровского типа. Напудренные волосы собраны и перевязаны лентой. На тонких губах играла холодная, натянутая улыбка. И тут на ум мне пришла мысль, прогнать которую было уже не в моих силах: «Это портрет убийцы», - подумалось мне. Именно таким - тонким, змеиным - представляла я себе его лицо.

И снова сцены происшедшей здесь когда-то трагедии предстали перед моим умственным взором. Вот человек с портрета склоняется в притворном сострадании над мёртвым телом. Вот лицо его с торжеством улыбается садовнику. Вот человек с портрета укоряет сестру, когда у неё возникли какие-то смутные подозрения после того, как он прополоскал фиал, в котором больному была подана отравка. Затем это же лицо с отточенной учтивостью выражало притворную готовность ответить на все вопросы следствия.

Я понимала, что портрету убийцы не висеть бы здесь, знай Лоуфорды о его существовании. И всё же мне думалось, что хотя имя негодяя с течением времени и забылось, но на портрете изображён именно он. Приговорённый к изгнанию на чердак, портрет этот с дьявольской изворотливостью каким-то образом сумел найти дорогу назад и пробрался в своё прежнее жилище. Возможно, что наша комната была как раз спальней злодея и где-то здесь имелась дверь в потайную комнату, запершись в которой он и приготовил яд. Возможно, - и страшная мысль заставила меня помимо воли содрогнуться, - наша комната принадлежала убитому, и именно в ней больной умер в мучительной агонии. О, этот ужасный дом! Я никогда не буду в нём счастлива. И мысли мои потекли по прежнему руслу.

Мне представилась такая сцена: явились два врача, за которыми послал сам убийца; им поручено провести осмотр тела. Злодей встречает их в холле со свечой в руке и приглашает войти. Он учтив и предупредителен.

- Сэр Вильям, - говорит он им, - выразил желание, чтобы тело было осмотрено.

- С какой целью? - спрашивают они.

- Единственно с целью удовлетворить семью, - отвечает он и показывает им письмо от сэра Вильяма, где выражена воля последнего. - Исключительно для того, чтобы снять всякие подозрения с находившихся рядом с умершим...

- Не написал ли сэр Вильям также и другого письма? - спрашивает самый недоверчивый из врачей.

- Да, было и другое письмо, такое же дружественное, - заверяет он их.

Но в действительности то другое письмо ни в коей мере нельзя было назвать дружественным: в нём выражалось подозрение, что больного попросту отравили. Злодей же сделал вид, будто ищет это второе письмо в кармане жилета, и вытащил из него какой-то конверт. Доктор успел взглянуть на него, как убийца уже положил его назад в карман. Но поскольку доктор узнал на конверте почерк сэра Вильяма, то ничего и не сказал. В результате осмотр тела тогда так и не состоялся, и факт совершения преступления ещё долго оставался неустановленным, до той поры, пока другой, куда бо-

лее пронизательный и не такой доверчивый медик с чрезвычайной энергией не взялся уличить этого изошрённого преступника.

Я взглянула на часы: была половина второго. Тут я встала и, подойдя к кровати, попыталась разбудить мужа, чтобы дать ему лекарство. Однако он, недовольно шевельнувшись и глубоко вздохнув, так и не проснулся. Лучше было вовсе не будить его, пусть спит. Поэтому, переодевшись в ночную рубашку, я сгребла в кучку оставшиеся в камине дрова - остальное сгорело уже до белого пепла, и легла рядом с мужем. Я только начала засыпать, как вдруг какой-то звук разбудил меня. Из-за бессонных ночей чувствительность моя обострилась, и я сразу же проснулась. Звук был очень слабый, казалось, будто кто-то пытается повернуть ручку двери. Я опять прислушалась - всё тихо. Может быть, то была крыса, которая скреблась за стеной панелью: ночью ведь даже самый слабый шум увеличивается до грохота нашей фантазией. Я привстала в кровати, и снова прислушалась: ничего. Дрова, слабо тлевшие до этого, как раз вспыхнули и загорелись ярким пламенем.

Я снова легла и, как мне казалось, уснула. И я вновь пробудилась, но на этот раз не от звука, а от щемящего чувства неопишуемого ужаса, какой овладевает нами при встрече со сверхъестественным. Открыв глаза, не шевелясь, смотрела на дверь. Ужас парализовал меня: я увидела, как дверь мягко и бесшумно открывается и из темноты коридора в комнату медленно вливается фигура какого-то старика, одетого в поношенный жёлтый халат. Тихо закрыв за собой дверь, он повернулся, и передо мной оказалось тонкое, измождённое лицо, бледное как у мертвеца, голова чем-то обмотана, а челюсть подвязана, как это бывает у покойников. Взгляд пустых, совершенно бесцветных глаз был устремлён на камин. Вошедший, казалось, не замечал кровати и тех, кто лежал на ней. Медленно скользя по полу, дух убитого - у меня не было сомнений, что это он - двигался в направлении огня и, словно в задумчивости, остановился подле камина. Затем, взяв один из флаконов с лекарствами, стоявших на камине, он внимательно осмотрел его и вылил содержимое в стакан. После чего призрачная фигура уселась в старинное кресло у камина и долго сидела в нём, двигая над пламенем белыми, почти прозрачными руками.

Смелость медленно возвращалась ко мне, и я серьёзно задалась вопросом - вижу ли я сон или просто брежу. Желая увериться в том, что проснулась, я потихоньку протянула руку и сжала руку мужа. Он шевельнулся и издал слабый стон. Взглянув вверх, я сосчитала зелёные и красные цветы на балдахине кровати. Я вспомнила, где находится звонок, но до него мне было не дотянуться. Тогда я сняла с пальцев кольца, потом снова надела их. Я даже достала часы и посмотрела, сколько времени, - было четверть третьего.

Итак, я лежала и пыталась убедить себя, что открывшаяся дверь и бледная фигура в полинялом жёлтом халате, сидящая в кресле, были лишь обманом чувств, вызванным нервным перевозбуждением. Я снова крепко сжала руку мужа, на этот раз так крепко, что он вздрогнул и застонал. При этом звуке фигура у огня встала с кресла, помешала угли в камине, и медленно направилась к нашей кровати. В свете огня от камина я к своему неопишуемому ужасу увидела, что в одной руке призрак держит длинный, острый нож. Блеснувшее в отсветах пламени остриё его было обращено вверх и направлено в нашу сторону.

Обуглившиеся дрова в камине горели так слабо, что едва отбрасывали на пол красноватые блики, и всё же света было достаточно, чтобы я увидела, что фигура, подняв нож, крадёт ко мне. Я похолодела от ужаса. Страх настолько сковал меня, что у меня не было сил ни шевельнуться, ни позвать на помощь. Вдруг фигура наткнулась на стул, стоявший у стола, за которым я имела обыкновение читать, и опрокинула его. В ту же секунду мозг мой скинул оцепенение, и силы вернулись ко мне. Сердце у меня учащённо забилось.

Это вроде бы незначительное происшествие убедило меня в том, что в фигуре не было ничего сверхъестественного. То мог быть кто угодно: убийца или лунатик, но он явно состоял из плоти и крови. Я не знала, какова его цель - она, несомненно, была ужасна. Он, однако, всё стоял вблизи нас с ножом в руке, глядя на меня пустым, мертвенным взглядом, в котором читалась дьявольская злоба. Я уже было собралась вскочить с кровати, попытаться отнять у него нож и звать на помощь, когда фигура вдруг повернулась к двери и выскользнула из комнаты так же бесшумно и призрачно, как и вошла. Я глядела ей вслед. Затем, ощутив внезапный прилив сил, вскочила с кровати, захлопнула дверь, быстро повернула ключ, молниеносно задвинула щеколду и без чувств упала на пол.

* * *

На следующее утро я как обычно спустилась вниз и присоединилась ко всей компании за завтраком. Я решила ничего не рассказывать о ночном происшествии, лишь пожаловалась на бессонницу и недомогание. Со всех сторон раздались возгласы сочувствия и посыпались советы, что мне не стоит сидеть у постели больного ещё одну ночь.

- Моя дорогая миссис, через год вы будете относиться к таким вещам гораздо спокойнее, - цинично заверил сэра Эдвард.

Я заметила, что леди Лоуфорд смотрит на меня. С тревогой и какой-то особенной серьёзностью. Когда завтрак закончился, она незаметно увела меня к себе в будуар.

- Дорогая миссис, - сказала она, беря меня за руку. - У вас очень усталый вид и вы чем-то в конец расстроены: я женщина светская, старше и опытней вас, так что и не пытайтесь этого отрицать. Нынешнюю ночь с вами, несомненно, приключилось что-то ужасное. Думаю, я догадываюсь, что бы это могло быть. Конечно же, не из-за ночного бдения подле постели больного так дрожит сейчас ваша рука. Ну же, милая, откройтесь мне расскажите, в чём дело.

И я рассказала ей всё, ничего не утаив, начав со своих мыслей о портрете отравителя и до той минуты, как я без чувств свалилась на пол подле двери. Рассказывая, я заметила, что лицо леди Лоуфорд становится всё печальнее и серьёзнее. Когда я закончила, она тяжело вздохнула:

- Моя милая, - сказала она мне в ответ, - я просто обязана раскрыть вам эту тайну, но мне бы очень хотелось, чтоб это объяснение осталось между нами. Дело в том, что в дальнем крыле своего дома мы держим сумасшедшего. Этот старик - родственник сэра Эдварда. Он очень любил сэра Эдварда, когда тот был ещё ребёнком, и мой муж в благодарность за его доброту взял на себя заботу о нём теперь, когда жена и друзья его совершенно покинули. Он требует от нас огромного внимания, так как временами подвержен мании человекоубийства. В такие периоды он очень коварен и опасен, а потому за ним необходимо особенно строго присматривать. Однако как раз прошлой ночью, человек, приставленный к нему, выпил лишнего вместе с прислугой, и его сморил сон, как он сам теперь признаётся. Старик, воспользовавшись этим, украдкой покинул свою комнату и по чёрной лестнице, ведущей на кухню, спустился вниз. Там он взял со стола среди кухонной утвари большой нож для разделки мяса и направился с ним на вашу половину дома. Человек, присматривающий за ним, проснулся и, хватившись своего подопечного, побежал за ним на розыски. Нашёл он его в холле, где старик, скорчившись, лежал на полу. Из его бессвязных слов слуга понял, что тот вошёл к кому-то спальню, в вашу или в чью-то поблизости. Вот и вся тайна, моя дорогая миссис... Мне остаётся только глубоко сожалеть, что вам довелось подвергнуться столь страшной опасности.

Мы оставались, вернее, были вынуждены оставаться в этом доме ещё много дней. Но должна признаться, что, несмотря на всё гостеприимство леди Лоуфорд, я была бесконечно рада наконец-то увидеть карету, которая увезла нас подальше от этого ужасного дома. И в своих снах, как жуткий кошмар, я часто вижу старинное окно эпохи Тюдоров, огромные железные ворота, портрет в тёмном углу, освещённый отсветами огня в камине, и призрачную фигуру старом жёлтом халате.

1895 г.

Артур Конан Дойл



**Мысль летит, а слова идут шагом.
В этом вся драма писателя.
Александр Грин.**



Иду, смотрю - 2 голубя сидят,
Один другого по голове тук-тук...
Второй взъерошился, но молчит,
терпит... Муж, наверное!



Сидят две бабульки. Одна у другой спрашивает:
- Как меня зовут?
Другая долго думает и спрашивает:
- Тебе срочно?



Предложила знакомому переписываться
с помощью настоящих бумажных писем,
мол романтично и все такое... Он долго
молчал, а потом ответил:
"Натаха.....Ты в тюрьме?"

Саломея

Приключения, почерпнутые
из моря житейского.
Александр Фомич Вельтман.

Начало см. № 54

Продолжение...



КНИГА ТРЕТЬЯ

Часть девятая

II



В гостеприимном караван-сараяе, находящемся на перепутье из театра в собрание, есть тьма отделений, номеров, номерков, уютных для приезжих, проезжих, для скитальцев и путешественников, для странников вообще и для странников в особенности, для хаджей и даже для пилигримов с блондовой бородкой.

Одно из отделений этого караван-сарая только что занял какой-то приезжий: мужчина средних лет, статный, лицо худощаво, но румянец во всю щеку, глаза голубые, а волосы как смоль, одет по-дорожному, но сообразно форме, отдаваемой в ежедневных приказах моды, с тою только разницею, что вместо мешковатого пальто на нем была богатейшая бархатная венгерка, изукрашенная шнурками. По наружности, по всем приемам и по речи нельзя было определить, к какой, собственно, нации принадлежал он. Казалось, что это был воплощенный космополит, европеец неопределенного языка, *vagabond*, объехавший для препровождения времени весь свет и посетивший на закуску - Россию. С своим слугой-немцем, он говорил по-немецки как француз; с французом-чичероне - по-французски как англичанин; с половым - по-русски как чех, и в дополнение пересыпал свои речи латинскими, итальянскими и даже турецкими восклицаниями; а распевал и бранился на всех земных языках.

На вопрос полового у камердинера, кто таков его барин, немец отдул отвислую губу и, подняв указательный палец, отвечал:

- Это магнат унгарски Волобуж, слышишь?
- Нет, брат, не слышу; кто такой?
- Это великий господин, магнат унгарски Волобуж, слышишь?
- Нет; ну-ко еще.

- Хе! - сказал немец, усмехаясь, - это тебе *gross Kurios! fine wunderliche Sache!*

- Иоганн! - крикнул путешественник по-немецки, пыхнув дымом сигары и остановясь посреди комнаты, - здесь скверно пахнет! Как ты думаешь?

- Скверно пахнет? - спросил немец-отвислая губа, - позвольте, мейн-гер, я понюхаю.

И Иоганн, как легавая собака, вытянул шею, поднял нос и начал нюхать удушливую атмосферу отделения.

- Ну, понюхай еще, - сказал венгерский магнат, - а потом неси шкатулку и вещи назад в дормез. В этой «Москве» я не остаюсь. Гей, бир-адам! *Seigneur serviteur*, как твое имя?

- Мое имя Андре, - отвечал француз.

- Есть тут какой-нибудь «Лондон»?

- И очень близко отсюда, если только вам угодно,

- Очень угодно: только с тем, чтоб и в «Лондоне» не было такого же натурального запаха.

- Как это возможно! будьте спокойны; я пойду сейчас же займу лучший номер.

- Если невозможно, так едем в «Лондон».

- Что ж, ваше сиятельство, не понравился номер? Мы вашей милости другой покажем, - сказал приказчик гостиницы.

- Что ты говоришь? - спросил его магнат.

- Да вот вашей милости, может быть, номер не понравился, так другой извольте посмотреть.

- Ты что, что говоришь? а? - спросил он снова, выходя из номера.

- Черт их разберет, этих немцев, - сказал приказчик, махнув рукой, - и сами ничего не понимают, и их не поймешь!

У подъезда стоял, хоть и не новомодный на лежачих рессорах, но славный дормез со всеми удобствами для дороги, придуманный не хуже походного дормеза принца Пюклер-Мюскау. Немецкий человек Иоганн был уже наготове принять господина своего под руку и посадить в экипаж; но его задержал па крыльце какой-то отставной, низко поклонился ему, встал перед ним навытяжку, держа шляпу в левой руке, и начал излагать, запинаясь, свою покорнейшую просьбу помочь страждущему неизлечимой болезнью, погруженному в крайнюю бедность и имеющему жену и пятерых человек детей мал мала меньше.

Венгерский магнат уставил на него глаза с удивлением, осмотрел с ног до головы, как чудо, какого еще не видывал, и, выслушав долгую речь, спросил:

- Жена?
- Так точно: жена-с... ваше сиятельство, - повторил отставной, - и пятеро человек детей...
- И пятеро детей?
- Так точно-с...
- Что-о, что вы говорите?
- Пятеро-с, - проговорил отставной, отступив с испугом.
- Жаль, мало; только пятеро!... - сказал магнат, вынимая кошелек, - вот вам по червонцу на человека; если б было больше, больше бы дал... считайте, пять?.. Только пятеро детей?
- Ваше сиятельство, - сказал отставной, у которого от радостного чувства тряслись руки и разбежались глаза, смотря на горсть золота, - жена на сносе, прибавьте на шестого...
- Хорошо; а может быть, жена ваша родит двойни?
- Всегда двойни родит, ваше сиятельство, всегда, вот и прошлый раз двойни родила...
- Ну, вот еще два.
- На родины, на крестины понадобятся деньги...
- Ну, об этом поговорим после; приходите как-нибудь на днях; я буду стоять в «Лондоне».
- Слушаю, ваше сиятельство...
- Ну-ну-ну! ступайте себе, пока назад не отнял! Отставной опрометью бросился от магната Волобужа, который посмотрел ему вслед, пожав плечами.

Француз Андре также пожал плечами. Он пришел в ужас, заметив такую щедрость путешественника.

- Пропадные деньги, совершенно пропадные! - сказал он со вздохом, - я обязан предостеречь вас; вы думаете, что это в самом деле несчастный офицер? Это мошенник; их здесь тьма ходит. Они вас оберут, *monsieur... le comte*, - прибавил Андре, не зная, как величать путешественника.

- Оберут? неужели? какое горе!
- Ей-богу, оберут! как это можно давать столько! Им ничего не надо давать... этим бездельникам, попрошайкам! нищим!

- Тебя как зовут?
- Андре, *monsieur*.
- Вот видишь, Андре-*monsieur*, знаешь ли ты разницу между нищим и плутом?
- Non, *monsieur*.
- Так я тебе скажу: нищий напрашивается на деньги, а плут на услугу. Понял? И прекрасно; довольно рассуждать. Что ж «Лондон»?

- Я уж был там; самый лучший номер готов,
- Умные ноги!
Венгерский магнат вскочил в дормез, Иоганн взлез на козлы, ямщик чмокнул, подернул вожжами.

Поехали. Андре бежал следом, или доехал на запятках, но у подъезда гостиницы «Лондон» он встретил и высадил магната из кареты и повел по длинному, довольно сальному коридору до номера.

- Господин покорнейший мой слуга, как бишь тебя зовут?
- Андре, *monsieur*.
- Ну, Андре-*monsieur*, лондонская атмосфера и чистота, кажется, не лучше московской?
- Номер прекрасный.
- Правда, номер лучше. Иоганн! как ты думаешь? Понюхай, хорошо ли пахнет?
- Ха! - отвечал Иоганн, приподняв важно отвислую губу, - здесь всё *recht*. Всё как следует для одной такой *Obrigkeit* как ваша высочородность. Ничего не можно сказать худого. По стенам бесподобнейшие картины. Занавесы прекрасные на окнах, ковры... *ja! ailes ist recht*. Вот и клавиры, можно музыку играть... и все, как следует. И кабинет есть, стол письменный. Это немецкая работа! Тотчас видно! Я тотчас узнаю немецкую работу!

Иоганн обратил особенное внимание на немецкую работу стола и распространился, рассматривая его со всех сторон и выдвигая ящики, о немецкой аккуратности.

- Что, хорош стол? - спросил магнат.
- О! - произнес Иоганн, приподняв отвислую губу.
- Ну, понюхай его и ступай выбирать все из кареты; да скорее мне одеваться!
- Нельзя же все вдруг, *mein Herr*; надо все по порядку сделать.
- Ну, ну, ну, готс-доннер-веттер! - прикрикнул магнат Волобуж, раскинувшись на диване.
- А ты, как бишь тебя?
- Андре.
- Андре, скажи, чтоб подали обедать, да мне нужна коляска на английских рессорах, да билет в театр, в собрание или в клуб, повсюду, где только можно убивать время позволительным образом. Слышишь?

- Слушаю.
- Ну, ступай! Я для скуки и уединения не создан, - продолжал про себя Волобуж, садясь обедать, - я и есть один не могу. Подай шампанского! И пить один не могу! Кругом тишина и спокойствие! Очень весело: слышно, как собственный рот жует и нос сопит. Иоганн, убирай! Роскошь, а не жизнь! блаженство посреди мук, волнений, тревожностей, громов и молний... Итак,

я вступаю в новый свет, как Колумб. Знакомлюсь с московскими дикарями... они, говорят, народ гостеприимный, любят и уважают всех иноземных пришельцев и мимошельцев, скитающихся мудрецов и бродящих артистов и художников. Иоганн! Готово?

Иоганн привел все в порядок, подал барину одеваться, проводил его до коляски, сказал по-немецки: «Господь с вами!» - и пошел совершенствовать устроенный порядок, переключать и переставлять вещи с места на место, всматриваться и вглядываться, действительно ли всё на месте и нет ли какого-нибудь упущения.

Магнат Волобуж отправился в театр и был вполне доволен тем впечатлением, которое произвело первое его появление в публике. Взоры дам из лож сосредоточились на новое замечательное лицо, как лучи к фокусу зажигательного стекла.

- Это лучшие проводники ко всем земным благам, - говорил Волобуж почти вслух, обводя зрительную трубку по рядам лож. - Очень, очень милы! Прелесть! Право, я ни в Лондоне, ни в Париже, ни в Вене, ни в одной из европейских столиц не видал таких хорошеньких!

- Вы, без сомнения, путешественник? - спросил его сосед, взоры которого также блуждали по бенуару и бельэтажу, а улыбка проявляла внутреннее довольствие, что весь Олимп театра не сводил с него глаз.

- Я путешественник, - отвечал Волобуж, - и удивляюсь необыкновенной красоте здешних дам. Совершенно особенный тип! Тип оригинальный, какого я не видал в целой Европе! Ah! *reg mai fe!* Я не нагляжусь!

- Нам очень лестно это слышать; но вы изменяете вашим соотечественницам.

- *Goddem! my heart goes pitt-a-patt!* Я изменяю своим соотечественницам?

- Вы англичанин?

- *Gott bewahre!*

- Немец?

- И того меньше; я мадждар.

- Ах, я что-то слышал; не вы ли ездили для исследования языка мещеряков?

- Нисколько.

- Говорят, что мещера и мадждары составляли одно племя?

- Кажется, но мои предки происходят от славян.

- От славян? О, так недаром вам нравится русская красота.

- Родная! Не могу не восхищаться! Что за энергия во взорах, в чертах!

- Посмотрите на даму в золотой наколке, во второй ложе.

- Ах, не отвлекайте меня от всех к одной; я не могу ни одной отдать предпочтения: каждая - красавица в своем роде.

- Помилуйте, посмотрите, какие рожи сидят в третьей ложе.

- Рожи? Что вы это! Вы, верно, присмотрелись к красоте наших дам, или ваш вкус односторонен, или у вас мода на какую-нибудь условную форму лица? А эта дама, кто такая?

- Это Нильская.

Поднявшаяся занавесь прервала разговор. По окончании театра собеседники расстались знакомцами.

- С этим приятелем не далеко уйдешь, - сказал магнат Волобуж, садясь в свой экипаж, - это, кажется, сам ищейная собака.

На другой день поутру Андре явился с билетом для входа в Московский музей.

- Музей редко открывается, и трудно достать билет, - сказал он, - но я на ваше имя выпросил у самого генерала, директора.

- Это умно; так ты покажешь мне его, я лично хочу поблагодарить за это одолжение.

В оружейной палате был общий впуск, и потому Андре с трудом провел магната сквозь непроходимые толпы народа к восковой фигуре ливонского рыцаря на коне.

- Фу, дурак, куда меня завел? Ну, говори, кто это такой?

- Это? Это древний герой.

- Как его зовут?

- Вот я спрошу. - И Андре спросил у стоявшего подле фигуры солдата, как зовут человека, что на коне?

- Какой человек, это богатырь! - отвечал солдат.

- С кем же он воевал? И этого не знаешь? - спросил Волобуж.

- Нет, знаю, мосьё, он воевал с татарами, - отвечал Андре, отскочив от какого-то господина, который остановился подле и смотрел на проходящие толпы.

- Это кто?

- Это один из вельмож московских, - тихо отвечал Андре.

- А, прекрасно! - сказал магнат, подходя к довольно плотному барину со спесивой наружностью. - Извините меня, если я вас беспокою вопросом.

- Что прикажете?

- Я путешественник. Тут столько любопытного, но никто не может мне объяснить... Мне желательно знать, кто этот русский рыцарь на коне?

- Вы путешественник? - сказал барин, не обращая внимания на вопрос, - о, так вам надо познакомиться с директором. Я сам ищу его, но сквозь эти толпы не продерешься. Пойдемте вместе. Вы недавно приехали в Россию?

- Очень недавно, вчера.
- Откуда?
- Как вам сказать... Я кружу по целому миру; любопытство видеть Россию завлекло меня на край света.
- В самом деле, мы живем на краю света. Хоть бы немножко поближе к Европе! Скоро, однако, железная дорога сократит путь. Как вы нашли Россию? - проговорил вельможный барин, произнося невнимательно все слова.
- Чудная страна, удивительная страна! - отвечал Волобуж, - во всех отношениях не похожая на Европу!
- Не правда ли, совершенная Азия?
- Но что за воздух! Живительный воздух! Надо отдать справедливость, здесь воздух гораздо прозрачнее всех стран, где я ни был.
- Да, да, да, на воздух пожаловаться нельзя; но климат убийственный.
- Климата я еще не знаю.
- Вы увидите, - сказал рассеянно вельможный барин, уставив лорнет на проходящих дам: - Недурна, очень недурна! Кто это такая?
- Недурна, очень недурна! - повторил и магнат, - соблазнительное личико!
- Ха, ха, ха, это мило! Вы долго пробудете здесь?
- Надеюсь.
- Мы, кажется, не отыщем директора, а мне надо ехать... Очень рад с вами познакомиться.
- Позвольте прежде рекомендовать себя, - отвечал Волобуж, вынув визитную карточку и отдавая барину.
- Ах! - произнес сеньор приветливо, взглянув на карточку, - я надеюсь, что вы не откажетесь меня посетить... Позвольте узнать, где вы остановились?
- В гостинице «Лондон».
- Я буду лично у вас.
- Приезжий предупредит эту честь.
Барин ласково пожал венгерскому магнату руку, сказал свой адрес и раскланялся.
- Ты знаешь, где живет этот господин?
- Знаю, знаю, — отвечал Андре.
- Так мне не для чего здесь больше толкаться. *Seigneur Baranovsky*, как называл Андре русского барина, с которым случай свел нашего путешественника, магната Волобужу, был человек в самом деле с наружностью сеньориальной: высок ростом, плотен, держал себя прямо, глядел свысока, речь министерская, словом, важен, важен, очень важен. Но он был не из вельмож, происходивших от тех мужей, которым Рюрик раздавал волости, овому Полтеск, овому Ростов, овому Бело-озеро; не происходил он также от великих мужей, которые Хранились и бились за места в разрядах; ни от какого-нибудь мурзы татарского. Но во всяком случае он был богат, как Лукулл, который прославился роскошью одежд, мебели и стола. Римский Лукулл был умен и учен, съел собаку в познаниях, образовался у известнейших док красноречия и философии, имел огромную библиотеку, которою пользовался Цицерон, пивши еще мальчиком. А русский Лукулл, хоть и любил собак, но не съел ни одной по части отягощающей голову, а не желудок. Что ж касается до отделки дома *a la renaissance* и до повара, то, в сущности, о нем, как о мертвом, нельзя было ничего сказать, кроме *aut bene, aut nihil*. Такая угода чувствам во всех мелочах, что все чувства, кроме слуха, утопали в сладострастии созерцания, обоняния, осязания и вкуса. Слух же должен был довольствоваться басом хозяина и дискантом хозяйки. Была некогда и библиотека в доме, доставшаяся по наследию; до самого времени возрождения вкусов она занимала целую комнату; потому что в прошедшем столетии и даже в начале настоящего была и в России мода на библиотеки, и невозможно было не иметь коллекции французских писателей. Но со времени возрождения вкуса вельможный барин променял библиотеку, богатую роскошными изданиями и переплетами, на пару античных ваз и на сервиз саксонский; изгнал весь наследственный хлам и устроил дом как чудный косметический магазин, соединенный с мебельным и с великолепными залами богатейшей европейской ресторации, отапливаемой паром, освещаемой газом. После полного устройства и приведения в порядок всего, кроме счетов, он дал обед на славу, потом бал на славу. И прославился. Заговорили, заахали о доме, об обеде, о бале. А о хозяине преравнодушно сказали: - Дурак! Что он, удивить, что ли, хочет всех своими обедами и балами!

Но этим толки не кончились; тотчас же привели в известность доходы и расходы, поверили счета, допытались, что взято и сделано в долг, что на чистые деньги, что на слово, что по подрядам, кому уплачено, кому нет.

Про супругу сеньора *Baranovsky*, как его называл Андре, ничего нельзя было сказать худого. Она была женщина добрая; понимала, что в важности и делах ее мужа было что-то глупое, смешное и бестолковое; но ей было трудно *против рожна прати*, а еще труднее предостеречь себя от тщеславия быть окруженной блеском и великолепием: все это было так хорошо, так ей к лицу. Будь муж ее управителем и стой почтительно в дверях в ожидании приказаний, салон *madame Baranovsky*, был бы второй салон мадам Рекамье, которою она бредила. Если муж ее жил пышно и давал обеды из славолубия, то она давала балы чисто из великодушия и желания

одолжить и потешить бедную Москву, а вместе с тем и подать всем пример гостеприимства, образованного тона и любезности хозяйки.

Приготовляясь к своему балу, она была счастлива, счастлива как мать, которая радуется, что может потешить детей: «пусть их попрыгают и порезвятся от души». Но дети что-то не резвились, как будто под строгим присмотром чинности; тут как-то не было простору ни душе, ни телу: все что-то неловко; казалось, что все съехались из одного светского приличия и необходимости непременно быть на великолепном бале, на выставке модных одежд и тонов, на маневрах высшего круга и для того, чтоб после, если кто спросит: «Были на бале у мадам Вагановску?» - отвечать равнодушно: «Как же». Лица хозяина и хозяйки так же ярко были освещены внутренним довольствием, как и весь дом солнечными и лунными лампами: они как будто всматривались во всех и каждого, удивляются ли великолепию зал, роскоши убранств, блеску освещения и *непроеходимости* от бесчисленного множества приглашенных? В самом деле, какая-то благочинная тоска проникала всех, кроме нескольких лощенных танцоров и перетянутых стрекозами Терпсихор, которые перед каждым балом пляшут от радости: «Ах, бал, бал!»

С таким-то московским боярином свел случай магната венгерского. На другой же день он явился в дом и был представлен хозяйке. У себя в номере, в халате или венгерке, заметна была в магнате какая-то странность, необразованность приемов, что-то оригинально-грубое; но также видно было, что от самой колыбели он не был ни робок, ни стыдлив, застрахован от всякого смущения и поражения чувств великолепием, блеском обстановки, величием. Как хамелеон, он внезапно отражал па себе все краски и свободно становился в уровень, на одну лоску, с кем угодно. Поднимаясь на ступени лестницы, обращенной в благовонную аллею антиподных растений и цветов, он как будто вдруг напитался ими и явился в гостиную таким благообразным светским человеком, что сеньора была вне себя от удовольствия быть первой, которой представляется венгерский магнат. Она сама взялась познакомить его с лучшим обществом Москвы, предупредив, что дом ее есть центр образованной и просвещенной сферы и что она - солнце, которое согревает всю Москву разными родами *parties de plaisirs*.

- Вы, без сомнения, были уже в Париже? - спросила она, зажмурясь немножко и нежно склонив голову на сторону.

- О, конечно, несколько раз, - отвечал Волобуж, - *chavez-vous*, быть в Европе и не видеть Парижа, все равно, что быть Париже и не видеть Европы, потому что существенно Европа и заключается только в Париже: все прочее - продолжение Азии.

- Ах, это так; там центр образованности. Кто наследовал теперь славу гостиной мадам Рекамье?

- Никто, никто, решительно никто. Да и возможно ли, скажите сами? Мадам Рекамье! Вы знаете, что это за женщина?

- Ах, да, это справедливо; конечно, женщину такой любезности, такого образования трудно заменить. Так сблизить, соединить в своем салоне все чем-нибудь замечательное, все известности... это, это не так легко. Здесь не Париж; но вы не поверите, какое надо иметь искусство, чтоб быть амальгамой общества...

Сеньора с таким выражением утомления произнесла слова: *вы не поверите*, что невозможно было не поверить.

- О, верю, совершенно верю, - сказал магнат, - *chavez-vous*, я что взглянул на Москву, тотчас же понял, что это не Париж.

- Справедливое и тонкое замечание! - отозвался, наконец, сам хозяин. - Никакого сходства! Это удивительно! У нас так мало еще людей в кругу даже *нашем*, которые бы понимали истинное просвещение, что... Но вы сами увидите у меня в доме все, что первенствует, даже не в одной Москве, но, можно сказать, в целой России. Потому что *tout ce qui excelle* не минует моего порога.

Только что вельможный барин кончил речь, как вошедший слуга доложил, что опять пришел подрядчик, да и каретник пришел.

- Ты видишь, что я занят, глупец. Что ж ты мне докладываешь о пустяках.

- Подрядчик просит ответа-с на письмо своего барина.

- Скажи, чтоб завтра пришел за ответом; а каретник пусть придет послезавтра.

После отданного таким образом приказания людям барин продолжал велеречиво суждение свое о том, что Москва несколько не похожа на Париж и что это проистекает именно оттого, что русские не умеют жить. Присовокупил к тому очень дельное замечание, что Петру Великому следовало ранее заняться преобразованием России и что, если б он занялся этим заблаговременно, то просвещение и устроенное им регулярное войско предохранили бы Россию от нашествия монголов.

- Скажите! - воскликнул Волобуж, - всеобъемлющий гений сделал такое упущение, и этого никто до сих пор не заметил?

- Никто, решительно никто!

- Это удивительно! Какая была бы разница! *Chavez-vous*, вот что хочется мне знать: приезжал ли пустынник Петр проповедовать в Россию крестовые походы?

- Пустынник Петр? - повторил хозяин, припоминая.

- Кажется был, *mon cher*, - сказала хозяйка.

- Да! Точно! Именно был! Позвольте, в котором это году?

- Не трудитесь, пожалуйста, припоминать: хронология в этом случае пустяки. Мне желательнее только знать, отчего Россия не согласилась участвовать в крестовых походах?

- Отчего! - воскликнул барин, - просто невежество, непросвещение и только. Участвуй Россия - о, дела бы взяли другой оборот! Милльон войска - не шутка.

- Dieu, dieu! - проговорил магнат, глубоко вздохнув и уставив глаза на русского сеньора, - сколько в мире странных людей и событий!

- Ах, - сказала хозяйка, наскучив разговором об исторических событиях России, - посмотрите на мою Леди... elle a de l'esprit. Посмотрите, какие умные глаза!

- Чудные глаза! - сказал Волобуж, глядя Леди, и подумал: «На первый раз довольно!»

И он встал, раскланялся. С него взяли слово приехать на другой же день, на вечер.

- Да это просто злодей! - сказал Волобуж, сбежав с благовонной лестницы к подъезду.

- Что, сударь, верно, и тебе денег не платит? - спросил один из стоявших у подъезда двух человек.

«А, это, верно, подрядчик и каретник, - подумал магнат, взглянув на две бороды в синих кафтанах, - да, да, не платит!»

- Из магазина, верно, взял что?

- Нет, просто за визит не платит: делай визит ему даром, каков?

- Ты говори! Все норовит на даровщинку. А еще такой барин и богач, прости, Господи! Занял у меня без малого тысячу...

- Скажи, пожалуйста, каков! - сказал Волобуж, садясь в коляску.

- Куда прикажете? - спросил кучер.

- Куда? Вот об этом мне надо кого-нибудь спросить...

- Домой прикажете?

- Ну, домой! Что ж делать дома? Дома люди обманывают самих себя, вне дома - обманывают других. Что лучше? Фу, какой умница этот вельможа! В самом деле, если бы Петр Великий начал преобразование России со времен Рюрика, то Россия с ее рвением к просвещению ушла бы далеко на запад, дальше солнца, если бы не проклятые столбы. Да! Кстати о просвещении. Ступай на Кузнецкий мост, во французский книжный магазин! Надо принять к сведению современный интерес, надо стать в уровень с мосье Varanovsky.

Приехав на знаменитый мост, магнат вбежал в книжный магазин и спросил современных книг.

- Каких угодно?

- Все равно, каких-нибудь; я ведь не люблю читать и размышлять, что хорошо или худо: и то и другое зависит от моего собственного расположения духа... Лучшие сочинения теперь, я думаю, романы; в них жизнь, и настоящая наука, и философия, и политика, и индустрия, и всё.

- Не угодно ли выбрать по каталогу.

- Да я приехал к вам, мой милый, не для того, чтоб терять время на выбор. Вы француз?

- Француз.

- Ну и прекрасно; давайте мне что хотите: все хорошо; мое дело платить деньги - чем больше, тем лучше.

Француз улыбнулся и собрал несколько романов.

- Не угодно ли вам эти?

- Очень угодно.

- Вот еще новое, очень занимательное сочинение.

- Роман? Давайте, давайте! Не мало ли? Ведь я не читаю, а пожираю.

Набрав десятка два романов, Волобуж отправился домой и целый день провел в чтении. Но он читал, не разрезывая листов, не с начала, не от доски до доски, а так, то тот, то другой роман наудачу, как гадают на святках: *что вынется, то сбудется*. Это, говорил он, глупость, читать подряд; все равно, с краю или из середины. Главное, благоразумному человеку, посещающему свет, желающему говорить и рассуждать, нужны на ежедневный обиход карманные сведения, как карманные деньги. Почерпнув из книг или из журналов несколько блестящих, только что отписанных сведений, можно ехать с визитом, на обед, на бал, - куда угодно...

Когда Волобуж на другой день явился в гостиную русской Рекамье, для него уже было подготовлено знакомство, как для особенно интересного, высокообразованного путешественника и сверх того магната венгерского.

Каждый человек до тех пор ребенок, покуда не насмотрится на все в мире настолько, чтобы понять, что все в мире то же что ein-zwei-drei, ander Stuck Manier, и следовательно почти каждый остается навеки ребенком.

Это правило можно было приложить и ко всем тем, которые наполняли гостиную супруги вельможного барина. Любопытство видеть интересного путешественника так раздражило нервы некоторых дам, что при каждом звуке колокольчика которым швейцар давал знать о приезде гостей, пробегал по и жилкам испуг, головка невольно поворачивалась к дверям, уст) как будто зубками перекусывали нить разговора, и некоторые становились похожи на известное беленькое животное, которое прослышав какой-нибудь звук, осторожно поднимает свои длинные ушки и прислушивается: что там за чудо такое?

Волобуж вошел и с первого взгляда поразил все общество - так взгляд его был смел и беспощаден, движения новы, а выражение наружности необычайно. Хозяин побежал к нему на

встречу. Он взял хозяина за обе руки, как старого знакомого. Хозяйка встала поклониться ему. Он без поклона сел подле нее и тотчас же начал по-французски, несколько английским своим наречием, разговор о Москве.

- Chavez-vous, мне Москва так понравилась с первого взгляда, что я намерен остаться в Москве, покида меня не выгонят. - Произнося эти слова мерно и громко, магнат обводил взорами всех присутствующих в гостиной.

Хозяйка, по праву на свободную любезность с гостем, премило возразила на его слова:

- Так вам не удастся возвратиться в свое отечество!

- О, я чувствую, что даже не приду в себя, - отвечал магнат.

- Сколько приятного ума в этом человеке, - сказала вполголоса одна молоденькая дама натуральному философу, но так, что магнат не пропустил мимо ушей этих слов, а мимо глаз того взора, который говорит: «Ты слышал?»

«А, это, кажется, та самая, которой восхищался мой собеседник в театре», - подумал Волобуж, устремив на нее взор, высказывающий ответ: «Я не глух и не слеп».

- Я вам доставлю одно из возвышенных удовольствий, - сказала хозяйка после многих любезностей, - вы, верно, любите пение? Милая Адель, спойте нам.

Одна из девушек села за рояль и потрясла голосом свои стены. Это уж так следовало по современной сценической методе пения. Теперь те из существ прекрасного пола, которые одарены от природы просто очаровательным женским голосом, не могут и не должны петь. Сентиментальности, *piacere* и *dolce* - избави Бог! Теперь в моде мускулезные арии, *con furore* и *con tremore*, с потрясением рояля от полноты аккордов, а воздуха от полноты выражения чувств.

- Каков голос! - оказал хозяин, подходя к магнату.

- Необыкновенный голос! - отвечал он, - это такой голос, каких мало бывает, да еще и редко в дополнение. Вот именно, голос! Это Гера в образе Стентора возбуждает аргивян к бою!

- Удивительный голос! Вы не сыграете ли в преферанс?

- С величайшим удовольствием: неужели здесь эта игра в моде? В Европе не играют уже в преферанс.

- Неужели? Какая же там игра теперь в моде?

- Коммерческие игры перешли в коммерческий класс людей, там теперь преимуществовует фараон.

- В самом деле? У нас не играют в азартные игры.

- И прекрасно. Я сам предпочитаю искусство случайности.

- Вы играете по большой или по маленькой?

- И по большой и по маленькой вместе: когда я выигрываю, мне всегда кажется, что десять червонцев пуан игра слишком мала.

- О, у вас, в Венгрии, верно, слишком дешево золото!

- Где его меньше, там оно всегда дешевле, - отвечал Волобуж, собирая карты и говоря вперед: - играю.

Хозяйка и вообще дамы надулись несколько, что у них отняли занимательного кавалера, и не знали, чем пополнить этот недостаток, на который рассчитан был весь интерес вечера. Не игравшие, собственные, ежедневные кавалеры как-то вдруг стали пошлы при новом лице, как маленькие герои перед большим, который, как Кесарь, *venit, vidit, vicit* внимание всех дам. Они ходили около ломберного стола, за которым он сидел, становились по очереди за его стулом, прислушивались к его словам и возбудили досаду и даже ревность в некоторых присутствовавших тут своих спутниках.

Венгерский магнат не привык, казалось, оковывать себя светскими бандажами. Он нетерпеливо ворочался на стуле, как будто заболели у него плеча, руки, ноги, заломило кости, разломило голову. Дамы надоели ему своими привязками в промежутках сдачи карт, хозяин и два барина, которые играли с ним, надоедали ему то мертвым молчанием и думами, с чего ходить, то удивлением, какая необыкновенная пришла игра, то время от времени рассуждениями о том, что говорит «журнал прений» и что говорят в английском клубе.

Хозяин играл глубокомысленно: по челу его видно было, как он соображал, обдумывал ходы; но ходил всегда по общему правилу игры. Отступать на шаг от правил он не решался: приятно ли, чтоб подумали, что он не знает самых обыкновенных, простых правил игры. Какой-то сухопарый, грудь которого была «рамплирована» декорациями, все хмурился на карты, спрашивал поминутно зельцерской воды и несколько раз жаловался на обеды в английском клубе.

- Я всегда на другой день чувствую себя не по себе, - говорил он, не обращая ни к кому своих слов, как признак сознания собственного достоинства.

- А какая уха была, князь, - заметил хозяин, ударяя всю силою голоса на слово уха. - Какая уха была!

- О-о-о! Надо отдать справедливость, - прибавил тучный барин, сидевший направо от Волобужа. - Уха недаром «нам» стоила две тысячи пятьсот рублей!

- Как же, весь город говорил о ней! - сказал один молодой человек с усиками, в очках.

- Весь не весь, а все те, которые ели ее, - отвечал, нахмурился брови, тучный барин.

- Такому событию надо составить протокол и внести в летописи клуба, - заметил снова молодой человек с колкостью, отходя от стола.

- А вот найдем протоколиста, - сказал тучный барин, - какого-нибудь восторженного поэта, - прибавил он вполголоса.
- Bravo, Иван Иванович, - сказал, захохотав, хозяин, - это не в бровь, а прямо в глаз.
- Нет, вы не жалуйтесь, князь, на стол в клубе. Для такого стола можно раз или два раза в неделю испортить желудок, - продолжал Иван Иванович прерванную речь свою.
- Ваш, однако же, нисколько, кажется, не портится, - сказал князь.
- Напротив, случается; но у меня есть прекрасные пилюли, и я, только лишь почувствую «несварение», тотчас же принимаю, и оно... очень хорошо действует.
- Завтра я непременно обедаю в клубе, - сказал хозяин.
- И прекрасно! Знаете ли что: вот, как мы теперь сидим, так бы и завтра повторить партию. Как вы думаете, князь?
- Я согласен.
- А вы? Вы не откажетесь завтра обедать с нами в клубе? - спросил Иван Иванович, обращаясь к Волобужу.
- С удовольствием, - отвечал Волобуж, - я так много и часто слышал и за границей об английском московском клубе, что меня влечет туда любопытство.
- О, вы увидите, - сказал хозяин, - это удивительное заведение.
- Академия в своем роде! - прибавил молодой человек в очках, проходя мимо и вслушиваясь в разговор.
- Это несносно! - проговорил тихо хозяин, уплачивая проигрыш.
- Охота вам приглашать этого молокососа, - заметил так же тихо Иван Иванович.
- Хм, жена, - отвечал с неудовольствием хозяин, вставая с места.
- Разлад полов и поколений, - сказал тихо и Волобуж, обращаясь к молоденькой даме, которая польстила его самолюбию.
- Отчего же разлад?
- Разлад, а говоря научным языком, разложение организма.
- Докажите мне, пойдете по комнатам, вы насиделись.
- Пойдемте.
- Как прекрасно отделан дом, не правда ли?
- Для моего воображения недостаточно хорош.
- Для вашего воображения, может быть, все недостаточно хорошо, что вы ни встречаете?
- О, есть исключение: встретив совершенство, я покоряюсь, влюбляюсь в него без памяти.
- А часто вы встречали совершенства?
- Встречали! Вы не вслушались, я говорю про настоящую минуту. Сядемте, вы находились, - сказал Волобуж, проходя с собеседницей уединенную комнату.
- Они сели; но ревнивая хозяйка не дала развиваться их разговору и увлекла в залу слушать, как один monsieur передразнивал Листа. Когда он кончил, венгерского магната уже не было в зале. Начались общие суждения и заключения об его оригинальности, уме, проницательных взглядах; дамы восхищались им; и одни только ревнивцы, вопреки наклонности своей к иноземному уму, понятиям, формам, условному изяществу, стали про себя корить соотечественниц своих, что они готовы обоготворить всякого беглеца с галер и позволить ему сморкаться в свои пелеринки.
- На другой день Волобуж был у Ивана Ивановича с визитом и вместе с ним отправился в клуб. Около интересного путешественника, венгерского магната, тотчас же составилась кружок. У нас необыкновенно как идет большая рыба на каждого порядочного иностранца. Он ловко справлялся с толпой, жаждущей послушаться его речей, бросал запросы, как куски на драку, ставил всех на спор о современном состоянии Европы.
- Я еще не знаю России, - сказал он, - знаю Европу, но совершенно не понимаю её!
- Удивляюсь! Европу не так трудно понять в настоящее время. Выслушайте! - прервал тотчас же один говорливый господин и принялся было объяснять значение Европы; но его в свою очередь прервал другой.
- Помилуйте, обратите только внимание...
- Позвольте, я на все обращаю внимание, примите только в соображение финансы и богатство Англии.
- Финансы Англии! Но вы посмотрите на Ирландию.
- На Ирландию? Это пустяки! На нее не должно смотреть, она в стороне.
- В стороне! И очень в стороне от благосостояния.
- Нисколько! Если б не О'Коннель, мы бы ничего и не слышали об Ирландии.
- Даже и голоду бы там не было.
- Без всякого сомнения! Ха, ха, ха, ха!
- Chavez-vous, - сказал Волобуж, которому надоела эта возня рассуждений о политике. Все обратили на него внимание.
- Chavez-vous, я думаю, что дела сами собою показывают, на что должно обратить внимание: главное, земледелие.
- Так. Но теперь главный факт - то, что земледелие в Европе в ужасном упадке. Разберем...
- Эту тему отложите, - оказал случившийся тут агроном, - я был в Европе и обращал на этот предмет внимание, исследовал все на месте.

- И видели возделанные оазисы посреди пустыни.
- Но какие оазисы!
- Ах ты, Господи! Да что за штука золото обратить в золотые колосья!..

Это восклицание возбудило общий смех. Но спор продолжался бы бесконечно, если бы не раздалось: «кушать подано!» Мысли самых горячих спорщиков внезапно вынырнули из бездонной глубины и все, как будто по слову: «марш!» двинулись в столовую.

Иван Иванович угощал московского гостя как будто у себя дома и возбуждал в нем аппетит своим собственным примером. Магнат дивился и на Ивана Ивановича и на многих ему подобных, как на адовы уста, которые так же глотают жадно души...

- Русский стол похож, - сказал он, - на французский.
- О, нисколько: это французский стол, - сказал Иван Иванович. Иногда, для разнообразия, у нас бывают русские щи, ватрушки и особенно уха.
- Ах, да, *chavez-vous*, мне еще в Вене сказали, что в России свой собственный вкус не в употреблении. Впрочем, в самом деле: *stchstchi! vatrouschky! oukha! diable!* Это невозможно ни прожевать, ни проглотить.

Гастрономическая острота возбудила снова общий смех и суждения о вкусах.

После обеда условленная партия преферанса уселась за стол в *infernale*, но Иван Иванович предупредил, что в десять часов он должен ехать на свадьбу к Туруцкому.

- Сходят же с ума люди! Жениться в эти года... и на ком! - сказал князь.
- Это удивительно! - прибавил *seigneur*, - неужели в самом деле Туруцкий женится на французенке, которая содержалась в тюрьме и которую взяли на поруки?
- Женится, - отвечал Иван Иванович, - но как хороша эта мадам де Мильвуа!
- Взята на поруки? Выходит замуж, французенка? Мадам де Мильвуа? - спросил с удивлением Волобуж.

- А что? Неужели вы ее знаете?

- Статная женщина, не дурна собою, вместо улыбки какое-то вечное презрение ко всему окружающему.

- Именно так! Мне в ней только это и не понравилось. Так вы знаете ее? Да где же?
- *Chavez-vous*, это моя страсть, я потерял ее из виду и опять нахожу... Выходит замуж, говорите вы?
- За одного богача.
- Bravo!
- Где ж вы с ней встречались?
- Разумеется, в Париже.
- О, так ей приятно будет встретить вас здесь! И для Туруцкого, верно, будет это маленьким несчастьем. Я скажу ей...

- Напрасно; она меня не знает. Впрочем, я бы очень рад был возобновить маскарадное знакомство; я у нее непременно буду. Где она живет?

Иван Иванович рассказал адрес дома Туруцкого и звал Волобужа ехать вместе с ним смотреть русский обряд венчания.

- Вместе не могу ехать, - отвечал он, - мне еще надо побывать дома; я приеду.

Партия преферанса скоро кончилась, князь вызывал на другую.

Иван Иванович соглашался, но Волобуж отказался решительно.

- В другое время хоть сто; я охотник играть в карты.
- Так завтра ко мне, - сказал князь, - мне желательно хоть сколько-нибудь воспользоваться пребыванием вашим в Москве, тем более что вы, верно, долго у нас и не пробудете.
- Право, сам не знаю; это зависит от обстоятельств: от собственного каприза или от каприза судьбы. У такого человека, как я, только эти два двигателя и есть.

Распростившись с своими партнерами, Волобуж вышел из клуба, сел в коляску и велел ехать по сказанному адресу в дом Туруцкого.

- Так вот она где! Мадам де Мильвуа! Скажите, пожалуйста! - разговаривал он вслух сам с собою. - К ней, сейчас же к ней! Посмотрим, узнает ли она меня? Выходит замуж... Это пустяки. Я ей не позволю выходить замуж! Это мечта. Несбыточное дело.

- Вот дом Туруцкого, - сказал наемный слуга, сидевший на козлах и облаченный в ливрею с галунами, на которых изображен был так называемый в рядах *общий дворянский герб*.

- На двор! К подъезду! - скомандовал магнат, и когда коляска подъехала к крыльцу, он выскочил из нее, не останавливаясь и не спрашивая у швейцара, дома ли господин, госпожа или господа, вбежал на лестницу. Не оглядываясь ни на кого из дежурных слуг, вскочивших с мест, прошел переднюю, как доктор, за которым посылали нарочно, которого ждут нетерпеливо, который торопится к опасно больному и который знает сам дорогу в самые отдаленные и заветные для гостей покои дома.

В зале, однако ж, встретив лакея, он крикнул:

- Мадам тут?
- Сюда, сюда пожалуйста-с.

Своротив направо, Волобуж вошел в дамский кабинет, остановился, осмотрелся.

- Теперь куда? Прямо или влево? Здесь слышатся голоса...

Волобуж подошел к двери, хотел взять за ручку, но дверь вдруг отворилась и из нее вышел с картонкой в руках и с завитым хохлом что-то вроде французского петиметра.

- Мадам тут? - спросил Волобуж.

- Monsieur, она одевается.

- Хорошо! - и, пропустив парикмахера, он вошел в уборную, где сидела перед трюмо дама в пенюаре и, казалось, любовалась роскошной уборкой головы.

- Кто тут? - проговорила она по-французски, не оглядываясь. - Я сказала, чтоб никто не смел входить, покуда я не позову!

- Madame, я не слышал этого приказа, прошу извинения, - сказал Волобуж, преклонив почтительно голову.

- Кто вы, сударь?

- Madame de Milvoie, венгерский дворянин Волобуж осмеливается представиться вам...

- Что вам угодно? Это странно, входить без спросу!

- Простите меня, я хотел только удостовериться, действительно ли вы та особа, которой я был некогда не противен... О, похожа, очень похожа!

- О боже! - вскричала дама, всмотревшись в лицо магната.

- О боже! Она, она! - вскричал и Волобуж, приняв сценическую позу удивления, - это ты, ты!

Дама затрепетала, дух ее занялся, бледность выступила на лице ее сквозь румяны; она походила на приподнявшегося из гроба мертвеца в венке и саване. Она хотела, казалось, кликнуть людей, взялась за колокольчик, но дрожащие губы не могли издать звука, поднявшаяся рука опала.

- Не тревожьтесь, не беспокойтесь, - сказал Волобуж, - прикажете кликнуть кого-нибудь?

- Злодей! - проговорила она, задыхаясь.

- Так я запру двери.

И он повернул ключ в дверях.

- Чего ты хочешь от меня?...

- Успокойтесь, пожалуйста, я ничего не хочу от вас, - отвечал Волобуж, садясь на кресло, - ни вещественного, ни духовного блага. Я только приехал поздравить вас с счастливым обеспечением судьбы вашей и убедиться в ложном слухе, что будто вы выходите замуж. Я не поверил...

- Мерзавец! Поди вон отсюда! Оставь меня.

И она в исступлении вскочила и, казалось, хотела боксировать.

- Знаете ли что, - продолжал спокойно Волобуж:

On vit un jour une cruelle guerre, / Entre la poule et le coq, / Pendant le choc, / La poule en colere

Драгоценные серьги, цветы, локоны, вся уборка головы прекрасной дамы трепетали, как от порывистого ветра листья на дереве; она без сил упала на кресла, закрыла глаза, закинула голову на спинку и, казалось, замерла, как убитая тигрица, стиснув зубы от ярости.

Волобуж продолжал равнодушно нараспев:

Mais un silence heureux finit la paix ...

- О Боже мой, я бессильна, я не могу избавиться от этого человека! - проговорила, как будто внезапно очнувшись, дама, - оставьте, сударь, меня!

- Из чего, к чему горячиться? как будто нельзя сказать по-человечески всё то, что нужно? Все эти исступления доказывают только, что вы нездоровы, расстроены душевно и телесно. Ну, где ж вам выходить замуж, моя милая мадам де Мильвуа? Пустяки! Я вам просто не позволяю: и не извольте думать, выкиньте из головы эти причуды! Одного мужа вы пустили по миру, другого хотите просто уморить, - нельзя, моя милая мадам де Мильвуа, невозможно!

- Милостивый государь! - сказала вдруг решительным голосом дама, - я вас не знаю, что вам угодно от меня? Кто вас звал? - И она бросилась к дверям, отперла их, крикнула: - Julie! позови людей! - И потом начала звонить в колокольчик.

- Все это пустяки вы делаете, - сказал равнодушно Волобуж, развалившись на креслах.

- Что прикажете? - спросила вбежавшая девушка.

- Позови... - начала было дама.

- Позвольте, не беспокойтесь, я сам прикажу, - прервал ее Волобуж, вскочив с места, - сидите! Я сам прикажу: поскорей воды, милая: барыне дурно! Постой, постой, возьми рецепт.

И он побежал к столику, схватил листок бумаги, черкнул несколько слов и отдал девушке.

- Скорей в аптеку! бегом!

Девушка убежала. Дама, как помешанная, опустилась на диван, водила пылающими взорами. Грудь ее волновалась, как в бурю.

- Ничего, - сказал Волобуж, смотря на нее, - это пройдет. Пожалуйста, примите, что я вам пропсал. Adieu, madame! Я тороплюсь посмотреть на жениха. Говорят, старикашка. Пожалуйста, поберегитесь *выходить*. Я вам говорю не шутя! Поберегитесь выходить замуж! На воздух же можете выходить когда угодно. Слышите? Adieu.

Волобуж кивнул головой и вышел.

- Ступай в здешний приход! - крикнул он кучеру.
 Простой народ толпился уже около церкви; но простого народа не пускали.
 - Уж чего, гляди, и на свадьбу-то посмотреть не пускают! - ворчала одна старуха на паперти,
 - поди-ко-с, невидаль какая! Вели, батюшка, пустить, посмотреть на свадьбу, - крикнула она,
 ухватив Волобужа за руку.
 - Кто не пускает?
 - Да вот какие-то часовые взялись!
 - Что за пустяки! Впустить! - крикнул Волобуж, входя в церковь. Там было уже довольно
 любопытных, в числе которых не малое число старцев, сверстников и сочленов Туруцкого. Все
 они как-то радостно улыбались; внутреннее довольство и сочувствие доброму примеру, что ни
 старость, ни дряхлость не мешают жениться, невольно высказывались у них на лице.
 - Я думаю, еще ему нет семидесяти, - говорил один из сверстников.
 - О, помилуйте! Все восемьдесят! Вы сколько себе считаете?
 - Мне еще и семидесяти пяти нет.
 - Неужели? Вы моложавы.
 - Посмотрим на Туруцкого, как-то он вывезет! На француженке... Она уж у него давно!
 - Ну, в таком случае понятно, для чего он женится. Ah, monsieur de Volobouge! Вам также
 любопытно видеть свадьбу? Свадьба замечательная; эта чета хоть кого удивит: жениху за семь-
 десят лет.
 - Что ж такое, - отвечал Волобуж, - *chavez-vous*, лета ничего не значат; кому определено
 прожить, например, сто лет, тот в семьдесят только что возмужал; а кому тридцать, того в двад-
 цать пять должно считать старше семидесятилетнего.
 - А что вы думаете, это совершенная правда.
 - Сейчас едет барин, - сказал торопливо вошедший человек в ливрее старосте церковному, -
 свечи-то готовы?
 - Что, брат, слово-то мое сбылось: пансионерок-то заводят для того, чтоб жениться на них.
 - Уж ты говори! - отвечал староста, - греха-то теперь на свете и не оберешься!
 - Чу, едут! - Все оборотились к дверям.
 Вслед за Иваном Ивановичем и толпою других *провожатых* вошел жених, Платон Василь-
 евич Туруцкий, поддерживаемый человеком.
 - Вот, вот он, вот! - раздался общий шепот.
 - Э-э-э, какой сморчок! Да где ж ему... Ах ты, Господи!
 - Ну, роскошь! - сказал сам себе наш магнат.
 Платон Васильевич, бодрясь, на сколько хватило сил, подошел к налюю, перекрестился, по-
 смотрел вокруг, поклонился и спросил Ивана Ивановича:
 - Поехали ли за невестой?
 - Как же, как же! Ah, monsieur de Volobouge... Посмотрите-ко, каков?
 - А вот увидите, невесту, также молодец, *bel homme*.
 - Скоро будет?
 - А вот сейчас.
 Насмотревшись на жениха, все снова устремили глаза ко входу в храм, в ожидании невесты.
 Чуть приотворится дверь...
 - Вот, вот, верно она... - Общий шепот затихнет.
 - Нет, не она!
 Долго длилось напрасное ожидание. Наконец, вошел запыхавшись Борис, и прямо к барину,
 сказал что-то ему на ухо. Но Платон Васильевич, верно, не расслышал.
 - А! Едет? - проговорил он и побежал к дверям.
 - Едет, едет! - повторилось посреди затишья. Снова все устремили глаза на двери.
 Иван Иванович, разговаривавший с магнатом, побежал к дверям.
 - Где же? Экой какой! Сам побежал высаживать из кареты! Что же, где Платон Васильевич?
 - Да они поехали домой, сударь, - сказал бегущий лакей: - что-то случилось такое; невеста,
 говорят, заболела...
 - Что-о? Вот чудеса! - сказал Иван Иванович. - Слышите, господа: невеста заболела! Да это,
 верно, просто дурнота... Невеста заболела! - повторил Иван Иванович, обращаясь к Волобужу, -
 я поеду, узнаю.
 - Ну, какую наделал я суматоху! - сказал Волобуж, проталкивая народ, который стеснился в
 дверях с нерешимостью, ждуть или выходить из церкви.

(Продолжение следует)

Александр Фомич Вельтман.



*Три периода в жизни женщины.
 В первом она действует на нервы своему отцу, во втором - мужу,
 а в третьем - зятю. Шарль Монтескье.*

ЧЁРНАЯ ЖЕНЩИНА

Николай Греч
С.-Петербург, 1796

Начало в № 74

Роман.

Книга первая

XV



Сметливый секретарь видел, что пылкий, чувствительный и в то же время слабый характером Кемский легко может сделаться добычею первой женщины, которой бы вздумалось приобрести его любовь или только показаться к нему неравнодушною и задеть его слабую сторону. Многие девицы посматривали на него с участием и нежностью; матушки обходились с ним предупредительно и учтиво. Тряпицын сообщил эти опасения своим благодетелям и доказал им, что князь, женись без их воли на дочери какого-нибудь неблагонамеренного человека, может забыть, чем обязан своим родственникам, может переменить свои намерения в рассуждении детей Алевтины. Следственно, если уже должно ему жениться, пусть он женится на особе, которая совершенно зависела бы от его семейства. План был одобрен в фамильном совете; надлежало привести его в исполнение.

Алевтина вспомнила об одной своей дальней родственнице по матери, круглой сироте, не имевшей никакой надежды в свете, ни даже приюта, и проживавшей в Москве попеременно у разных родственников. Ее выписали. Явилась недурная собою высокая, худощавая, чахотная фигура лет двадцати пяти, из которых по скромности убавляла двадцать процентов.

Татьяна Петровна была довольно хорошо воспитана, говорила по-французски, танцевала и т.д. Наслышась о властолюбивом нраве Алевтины, она предстала пред нею, как пред грозною судьбою, со страхом и трепетом, но прием ласковый, нежный и предупредительный рассеял ее опасения. Алевтина объявила ей, что намерена исполнить давнишнее свое желание, пристроить любезную родственницу в своем доме и, если сыщется жених, выдать ее замуж, как родную дочь. Старушка Прасковья Андреевна оросила ее слезами родственной любви и нежного участия к судьбе несчастной сироты. Ей отвели хорошенькую комнатку в доме, приставили к ней служанку, обновили ее гардероб. Татьяна пришла сперва в изумление от таких неожиданных и незаслуженных милостей со стороны людей, которые без расчета никому в свете добра не делали, и вскоре догадалась, что ее ласкают неспроста. Недаром была она однофамилицею Алевтины: женская хитрость, упражнявшаяся всю жизнь в изыскании средств к угождению зажиточным родственникам, нашла себе теперь достаточную пищу. Татьяна решила повиноваться, молчать и наблюдать; без труда заметила она старания Алевтины сблизить ее с князем, не догадывалась о действительной причине этих замыслов, но с восторгом предалась мысли быть княгиней и богатою и вознамерилась употребить все средства к достижению этой цели.

А что делал между тем Кемский? Беззаботность его была непродолжительна. Попривыкнув к новой службе, не находя прежних споров и неудовольствий в доме сестры своей, он опять начал призадумываться. В нем действительно были две жизни: одна существенная, так сказать, практическая, в которой он занимался вседневными делами, службою, обхождением с людьми, к которым был равнодушен, и, когда эти дела наполняли все его минуты, когда они его беспокоили, тревожили, он был доволен, не требовал и не искал ничего иного; но лишь только случался в этих обыкновенных занятиях какой-либо промежуток, наполненный у иных людей скукою, - в Кемском возникала другая жизнь, возвышенная, не земная, мечтательная; он занимался и прежними делами, но в том участвовали только физические его силы и низшие способности души, а ум, воображение, рассудок, чувство носились в мире духовном. В это время одной малой искры достаточно было для воспламенения всей души его. Знакомые и родственники считали его нездоровым, но не беспокоились о следствиях, что эти припадки у него часто случаются и со временем проходят.

Кемский искал человека, с которым мог бы разделять свою непостижимую тоску, свои гадания и надежды. Он душевно любил Хвалынского и всегда находил в нем друга и помощника, но только в делах жизни обыкновенной. Когда Кемский забирался в области надзвездные, друг его сначала старался слушать его со вниманием, употребляя все силы, чтоб ясно представить себе то, о чем князь говорил так положительно, но вскоре утомлялся, начинал зевать и наконец редко мог удержаться от какого-нибудь едкого замечания. Кемский не сердился на него, даже не жаловался, ибо не мог требовать, чтоб другие безусловно принимали его мнения, но мало-помалу перестал говорить с товарищем о любимых своих предметах. С каким искренним чув-

ством помышлял он об Алимари! С каким пламенным восторгом вспоминал он о беседе в Токсове! Но таинственный италиянец скрылся из глаз его, и нигде нельзя было найти его следа. Не было сомнения, что он оставил Петербург. Удивительно ли, что Кемский при этих приятных воспоминаниях с душевным удовольствием помышлял о тех, которые разделяли с ним беседу в тот незабвенный вечер!

Встретившись однажды с Бериловым, он приветствовал его как давнишнего, короткого знакомого. Берилов обошелся с ним вежливо, застенчиво, неловко и, по приглашению князя, стал посещать его сначала редко, а потом, узнав добродушие, откровенность, простоту нрава его, чаще и чаще. Кемский полюбил художника, человека с отличным талантом, но странного и причудливого. Берилов был скромный, тих, покорен, даже слишком учтив перед людьми знатными и богатыми, доколе речь шла о чем-нибудь, кроме его художества. Когда же он говорил об искусствах, когда перед ним была хорошая картина, особенно собственной его работы, он становился тверд, смел до дерзости, не давал никому выговорить слова, спорил до слез и нередко выходил из пределов приличия. Но, свернув свой рисунок или отворотясь от оригинала Тицианова, он становился прежним простачком и всепокорным слугою всякого, кто захотел бы им командовать. Не имея родни в Петербурге, он жил несколько лет один, в грязной комнате, которую часто забывали топить, и страдал от грубостей и плутней наемного слуги, который оставлял его по целым дням одного, вечером приходил домой пьяный и бранился с господином своим всю ночь. Берилов, занимаясь работою, частенько не обедал и утолял голод хлебом и квасом, случайно оставленными небрежным Емельяном. Такой образ жизни расстроил его здоровье. Одна добрая соседка, занимавшаяся чужими делами более, нежели своими, увидела бедственное положение Берилова и, испытав, что убеждения и слова на него не действуют, насильно вторглась в его комнату, при помощи полиции выгнала пьяного слугу и определила в услужение к нему свою золовку, о которой можно было сказать, что говорил покойный А.Е. Измайлов о хорошей дворовой собаке: *предобрая, презлая!* Настасья Родионовна вымыла, выскребла, вычистила приют гения; одела его самого в благопристойный сюртук, научила пить чай и кофе в надлежащее время, кормила сытным обедом и прятала лишние его деньги. Сначала вздумала она было принять команду и по искусственной части, но, кроткий во всяком другом случае, Берилов грозно объявил ей, чтоб она отнюдь не смела касаться святыни художества. Старуха догадалась, и мало-помалу водворилась между юным художником и шестидесятилетней боцманшею самая нежная дружба. Он предоставлял ей волю во всем, что не касалось главной цели его жизни, и только удивлялся, что Емельян, истрачивая вдвое более, гораздо хуже кормил и одевал его, нежели Родионовна. Она же привыкла к странностям своего хозяина и бранилась с ним только тогда, когда он на картинах своих изображал не одетых женщин и садился на извозчиков без ряды.

Станным покажется, что Берилов, с ограниченными своими познаниями и образованием, бесхарактерный и бестолковый, успел вселить дружбу и доверенность в просвещенного, умного Кемского. Но сколько мы видим в жизни примеров, что человек отличного ума и просвещения всею душою привязывается к необразованному простяку! В этом случае не равенство ума и нрава, а какая-то тайная, неизъяснимая симпатия действует на людей. Эта симпатия влекла Кемского к художнику и привязывала художника к Кемскому.

К тому должно присовокупить еще одно обстоятельство. Князь нашел в Берилове человека, который слушал его жалобы и терпел причуды с молчалием и покорностью, не требовал, чтоб князь занимался им каждую минуту, не гневался и даже не примечал, когда князь целый день не промолвит с ним слова. Родионовна радовалась, видя, что ее питомец знаком со знатным человеком, с сиятельным князем и поддерживала в нем уважение и привязанность к новому приятелю, особенно потому, что для этого гостя не нужно было подавать пуншу. В веселые минуты Кемский заводил речь о художествах и радовался восторгам Берилова, шутил над любимыми его образцами, бранил бритые головы древних лиц италийской школы и мясистые формы Рубенса, смеялся над анахронизмами великих мастеров и выводил артиста из терпения. Однажды Берилов, в исступлении от оскорбления, нанесенного памяти Караваджия, вскричал:

- Да какое вы имеете право цыганить великих людей? Что вы сами? Что вы произвели? Небось, в корпусе, рисовать учились, то есть Андрей Петрович Екимов за вас рисовал - на экзамен - глазки и носики!

- Извините, - отвечал князь с комическою важностью, - я не только любитель, но и сам художник. Не угодно ли посмотреть моей работы? Теперь, конечно, мне некогда заниматься рисованьем, но было время... Миша! Потрудись, брат, принеси зеленую папку из кабинета!

Берилов в молчании вытаращил глаза. Принесли рисунки. В числе их было несколько удачных попыток, но ни один рисунок не был кончен. Наш художник разглядывал их с большим вниманием и удовольствием: он восхищался не самими рисунками, а мыслию, что князь, уважаемый им во многих отношениях, имеет дарование к художествам.

- Ей-богу, изряднехонько! - говорил он. - Бог накажи меня, если я лучше нарисую вот эту перспективу. А эта головка! Хоть бы в академию ее! Ну кто бы ожидал таких прекрасных вещей от природного князя! Ей-ей, прекрасно. Жаль только, что нет ничего конченного.

- И мне самому жаль, - отвечал князь, - да я, видите, художник недоученный, так и все мои произведения по мне пошли. Более всего мне жаль, что я не мог, или, лучше сказать, не умел кончить вот этого ландшафта: я хотел изобразить одно место, где игрывал в детские лета, где гулял с отцом, матерью, братом...

Слезы прервали речь его.

- Позвольте, князь! - в восторге закричал Бериллов. - Я кончу этот ландшафт! Только в большем виде, если не противно! Знаю, знаю как это обработать. Вот тут побольше тени, а там издали - вижу, понимаю! Вы будете довольны.

- И вы также! - сказал князь, отдавая ему бумагу.

- Что вы под этим разумеете? - спросил оскорбленный Бериллов. - Неужели плату? Так знайте, что этого мне не нужно! Если б я брал за свои произведения должную плату, то был бы богаче нашего эконома в академии. Но я гнушаюсь деньгами и не брал бы ни копейки за труды свои, если б не Родионовна и не Андреевский рынок... Боже! Боже мой! - продолжал он вполголоса. - Творить, созидать, работать для потомства - и брать деньги! Деньги! Что это? Негодные бумажки, на которых и ученической головки не нарисуешь. И за мои картины! За этот ландшафт, который я вижу на бумаге! Вижу, сударь, вижу! - вскричал он, оборотясь к Кемскому. - Вижу его в моей душе, и вы вскоре увидите его на деле! Вскоре, то есть... ну, все равно! Только увидите!

Кемский радовался, что восторженный артист забыл о его предложении, и отдал ему эскиз. Бериллов схватил его с жадностью и побежал домой. Месяца три не говорил он князю ни слова об успехе своей работы, а только посматривал на него торжественно. Наконец в такое время, когда князя не было дома, он принес к нему свою картину, написанную в самом большом размере, поставил ее в кабинете князя, осветил ее по всем правилам и, уходя, наказал людям, чтоб они при возвращении князя отнюдь не предупреждали его о том, что он найдет в своей комнате. Он хотел поразить друга своего нечаянностью.

XVI

Кемский, занимаясь попеременно то делами, то мечтами, не замечал бури, которая собиралась над его головою. Алевтина с достойными помощниками подвигалась беспрепятственно к своей цели. Надобно было удалить от брата ее всех людей, которые могли бы препятствовать исполнению ее замыслов. Прекращение знакомства с Хвалынским было ей очень благоприятно. Она поручила Тряпицыну добраться, с кем чаще всего видится князь. Тряпицын донес ей, что чаще всякого другого бывает у него какой-то живописец, человек простой и недалновидный, следственно неопасный; что Хвалынский также нередко посещает князя, но только урывками, будучи слишком занят какою-то должностью. Более ничего не мог он узнать, ибо главный из слуг князя, камердинер его, Мишка, неохотно вдается в разговоры о своем барине и что-то косо поглядывает на господина секретаря, эконома и казначея, когда он, под каким-либо предлогом, явится у них в доме.

- Главное дело, ваше превосходительство, - говорил Тряпицын Алевтине (которая перед домашними людьми не слагала прежнего своего титула), - состоит в том, чтоб удалить сего мошенника Мишку. Я знаю от верных людей, что он обкрадывает своего барина, а князь Алексей Федорович так добр и великодушен, что не изволит сего видеть. Надобно как-нибудь удалить этого вредного холопа, услатить его подальше, чтоб он не мог и воротиться.

Через несколько дней Алевтина объявила Кемскому, что мать Мишкина, живущая в симбирской деревне, опасно больна и непременно желает видеть сына и что управитель, боясь отказа своего барина, обратился к его сестрице с просьбою о ходатайстве. Князь не колебался ни минуты: отправился домой и объявил Мишке о болезни и о желании его матери, сказал, что охотно отпускает его и позволяет оставаться в деревне, доколе будет нужно. Верный слуга, залившись слезами, бросился в ноги к своему доброму барину и в первые минуты не хотел его оставить, но когда сам князь растолковал ему, что обязанности человека к родителям его суть первые в свете, он, скрепя сердце, отправился в дом Алевтины и в тот же вечер послан был в деревню с новым винокурком, выписанным из Лифляндии.

Князь грустил по слуге своему, как по верном друге, Мишка не понимал своего барина умом, но постигал его сердцем, берег его сколько мог, угождал его малым слабостям, не тревожил в часы уныния и честно распорядился его делами. На место Мишки Алевтина пристроила к князю камердинера покойного своего мужа, человека тихого, но глупого до крайней степени. Если б в свете узнали это достоинство Медора, он мог бы сделать блистательную карьеру. Каждое действие, каждый шаг Кемского были известны Алевтине и ее помощнику. Она перечи-

тивала все письма, которые получал или отправлял Кемский, имела сведения, какие книги он читает, словом, обладала всеми средствами к уловлению брата. Всякая другая на ее месте, короче узнав этого добродетельного человека, почувствовала бы к нему еще большую любовь и искреннейшее уважение: все дела, все помыслы, все чувствования князя основаны были на чистой нравственности, на истинном благородстве, и самая мечтательность его была духовная, религиозная. Но это открытие еще более воспламеняло ревность и жадность Алевтины: она видела, что Кемский, вступив в брак по склонности, привяжется к жене всею душою и что судьба детей ее тогда будет зависеть от благорасположения этой жены. Притом же душевное превосходство брата вселяло в нее непримиримую к нему злобу и ненависть. Жестоко, но справедливо замечание, что люди скорее простят ближнему гнусный порок, нежели блистательную добродетель.

Более всего старалась она узнать, нет ли у него какой склонности, не занято ли его сердце. Долгое время не находила она никаких следов, но вдруг поразили ее слова в письме к Вышатины, бывшему тогда в Москве: "Все мои поиски донныне были тщетны. Алимари нет как нет. Это существо таинственное явилось и исчезло, оставив в уме и сердце моем глубокое впечатление. Но я не унываю: буду искать и надеяться, и, когда найду, никакие силы не разлучат нас".

- Нашла, нашла! - невольно закричала Алевтина и сообщила открытие свое Татьяне Петровне и Тряпицыну. У ревности и подозрения глаза велики: они втроем сплели целый роман, уверились, что князь влюблен в иностранку Алимари, что она скрылась, вероятно, по расчетам кокетства, что он твердо намерен на ней жениться и т.д. Открытие ужасное! Алевтина употребила еще один способ, чтоб увериться в этих предположениях. Дня через два, за чаем, когда сидели у нее Кемский и еще несколько человек посторонних, она издали завела речь об итальянском театре и, когда пошли суждения и споры, вмешалась в разговор, будто невзначай:

- Более всех нравится мне певица... как бишь зовут ее, Саноретти, Гаспарини? Нет, Алимари, кажется?

При этом слове Кемский взглянул на сестру в недоумении, покраснел и ждал продолжения. Для неё было довольно! На замечание одного из гостей, что это должна быть Гаспарини, она согласилась с ним и продолжала разговор равнодушно, как будто не замечая движения в брате. И он думал, что никто не видал его волнения, но оно не укрылось ни от одной из женщин: и старушка Прасковья Андреевна, и Татьяна Петровна, и скромная Наташа заметили, что имя Алимари подействовало на молодого человека с волшебною силою.

- Нечего терять время! - воскликнула Алевтина и объявила Татьяне Петровне, что, любя ее душевно, желает женить на ней брата, особенно потому, что у него есть интрига с иностранкою, бог знает какою, что эта иностранка скрылась и что должно воспользоваться временем ее отсутствия. Татьяна Петровна совершенно постигла намерение и виды почтенной своей благодетельницы и обещала помогать ей всеми силами, а сама в душе положила действовать для себя и употреблять Алевтину орудием к достижению собственной своей цели.

XVII

Если б все люди, с немногими исключениями, родились в свет с одним и тем же талантом, если б они поставляли употребление на пользу этого таланта предметом и целью всей своей жизни, если б ежедневно старались в нем упражняться, до какой степени совершенства достигло бы в теории и на деле искусство, требующее этого таланта! Теперь подумайте, что женщины одарены от природы всеми способами нравиться мужчинам и уловлять их в свои сети, что все воспитание их состоит в усовершенствии этих способов, а вся жизнь посвящена употреблению природных дарований, изощренных воспитанием, - и не дивитесь после этого, что это искусство доведено в свете до высшей степени совершенства! Не дивитесь, что люди умные, образованные, опытные легко попадают в сети, расставленные женщинами ограниченного ума, непросвещенными и во всем другом неисккусными. Добрый, благородный, но слишком мягкосердый Кемский не умел остеречься от сетей, расставленных ему прекрасным полом при помощи непрекрасного. Татьяна Петровна, узнав о склонности его к чудесному и сверхъестественному, стала толковать, будто невзначай, об этих предметах и умела обратить на себя его внимание. Она старалась читать те книги, которые он читал в это время, и находила средства занимать его ум и воображение. Где недоставало познаний и рассудка, там употреблялись обыкновенные уловки: молчание, значительная улыбка, будто бы произвольный вздох. Кемский стал привыкать к ее беседе, старался не примечать ее слабостей и недостатков и в скором времени начал находить в Татьяне Петровне достоинства и добродетели. Мачеха и сестра пели похвальный дуэт в пользу сиротки: то-то сердце, то-то душа, что за хозяйка будет, бедная сирота горя натерпелась, так сбережет мужнину копейку. Наташа не вторила этим хвалам; Кемский приписывал это обыкновенному ее хладнокровию и эгоизму; изредка только чудилось ему в глазах ее выражение какого-то сожаления, какого-то горестного чувства. Мысль, что Татьяна Петровна может

сделаться подругою его жизни, что она будет понимать его мысли и разделять чувства, мало-помалу укоренилась в его душе. Он заключал, что эта девица должна иметь необыкновенные достоинства, когда женщины, завистливые и недоброжелательные к своим ближним, каковы Прасковья Андреевна и Алевтина Михайловна, отдадут ей должную справедливость. Он долго собирался открыться в этом, но какая-то непостижимая сила его удерживала.

Однажды, просидев целый вечер у сестры, в беседе с нею и с Татьяною Петровною, он воротился домой в большом расстройстве. Несколько раз порывался он именно в этот вечер объяснить с ними, но никак не смел. Наконец он твердо решился прекратить это недоумение и уже начал обращением к Алевтине, но вдруг послышался из другой комнаты очаровательный голос Наташи - он смешался и умолк. Дома, ложась спать, он взялся, по обыкновению, за книгу, и, когда развернул ее, выпала из нее запечатанная записка, без адреса. Кемский распечатал ее и прочитал на французском языке следующее: *"Берегитесь. Вы стоите на краю пропасти. В последствии времени рады будете отдать жизнь свою, чтоб воротить прошедшее, но уже будет поздно. Вас предостерегает Алимари. 2-го октября 1789"*.

Кемский оцепенел. Читал записку несколько раз, наконец позвал Медора и спрашивал, не присылал ли кто-нибудь записки, не входил ли чужой человек в комнату. Медор клялся, что никого не было, и говорил правду. Кемский поверил ему и крепко задумался. Алимари здесь? Алимари нашел меня? Алимари предостерегает меня от какого-то несчастья, а сам не является! Что это за несчастье? Что за опасность? По службе я не знаю никаких огорчений, врагов у меня нет. Обхожусь я коротко только с ближайшими родными. Одна мысль сменяла другую, и все они безостановочно терзали бедного князя. Во всю ночь не мог он заснуть: лишь задремлет, страшные видения начнут терзать его. Он встал утомленный, измученный; отправился к разводу, потом к сестре. Там все испугались, увидев, в каком он положении. Все удвоили попечения о нем, и даже холодная, бессердечная Наташа, заметив бледность и нездоровье князя, видимо смутилась. Спрашивали о причине его расстройства. Князь отвечал, что накануне читал страшную историю и она снилась ему всю ночь и мешала спать. Алевтина изъясляла самое дружеское соболезнование; мало-помалу обратила речь на скуку одинокой жизни князя, на семейственные радости, которые ожидают доброго человека в счастливом браке, и нечувствительно довела его до того, что он признался ей в желании жениться на Татьяне Петровне! Алевтина крайне обрадовалась этому избранию, но представилась, будто вовсе того не ожидала, и обещала брату поговорить с Танею. Прасковья Андреевна, бывшая при том, заплакала и благословила пасынка, а он, кончив трудное признание, сидел в глубокой думе. Вдруг взглянул в открытую дверь темной залы, побледнел, задрожал и, вскричав:

- Она! Она! - бросился опрометью из комнаты. В передней набросил он на себя шинель, выбежал на крыльцо, кинулся в коляску и закричал: - Домой!

Алевтина, ее мать, Татьяна Петровна, Иван Егорович - все в доме были до крайности изумлены и испуганы этим случаем. Алевтина в ту же минуту поручила Ивану Егоровичу ехать вслед за князем, узнать, если можно, о причине быстрого его удаления, осведомиться, не болен ли он, и, в случае болезни, пригласить его переехать к ней в дом, где удобнее можно будет его пользоваться, фон Драк взглянул на Тряпицына, спрашивая взорами, что делать.

- Поезжайте, поезжайте, ваше высокоблагородие, - сказал Тряпицын, - и постарайтесь непременно убедить его сиятельство к переезду в ваш дом.

Фон Драк поспешил исполнить приказанное. Прискакав в квартиру Кемского, входит он в залу, в гостиную - нет никого, наконец в кабинет, и видит, что князь лежит в обмороке посреди комнаты, а Медор, горько рыдая, старается привести его в чувство. Кабинет был ярко освещен. Всю заднюю стену его занимала невиданная дотоле фон Драком картина, представлявшая сельский вид. Медор рассказал отрывисто, что барин за четверть часа пред сим приехал домой, бледный, расстроенный, и, когда вошел в кабинет и увидел эту картину, принесенную без него живописцем, закричал: "Что это? Где я?!" - задрожал и лишился чувств.

- Батюшка, Иван Егорович, - промолвил Медор, - скажите, ради Бога, что это с ним?

- Ничего, - отвечал фон Драк, - просто с ума сошел. А всему виною проклятые картины да книги. Ну, дворянину ли, князю ли этим заниматься! Но теперь помоги мне, Медор, снести его в карету. Алевтина Михайловна именно приказала мне, в случае болезни, непременно поставить его к ней. Уж она сбережет его!

- Вестимо, батюшка Иван Егорович! До кого другого, а уж до брата ее превосходительство куда как ласкова и милостива. Бережет, как сына родного. Придешь к ней, так опросам конца не бывает: кто-де был у него, куда сам ездил, здоров ли, не грезилось ли ему чего, какие письма он получил, какие отправил, даже какие книги читает - все ей знать надобно. Уж подлинно мать родная! Только, Медор, упаси тебя Боже, если ты хоть словом обмолвишься перед князем.

- Стану ли я поступать против вашего господского приказания! Для его же добра обо всем доложу вам. Дело его молодое, сам за собою не присмотрит.

Во время этого монолога князя завернули в шубу, снесли в карету, и фон Драк повез его домой. Он все это время был в беспамятстве. Алевтина, Прасковья Андреевна и Татьяна Петровна встретили его с горьким плачем. Его отнесли в особую комнату, раздели и положили в постель. Он очнулся и начал бредить. Алевтина послала за знаменитейшими по чинам и орденам врачами.

И в самом деле, что сделалось с Кемским? В разговоре с Алевтиной он чувствовал какое-то мучительное беспокойство, как будто ему предстояло несчастье, и, когда высказал все, что хотел давно сказать ей, когда на минуту показалось ему, будто он облегчил свое сердце, - вдруг невольно взглянул на дверь темной залы и там увидел черную женщину. Она посмотрела на него печально, покачала головою, как будто не одобряя его поступка, и исчезла. Он не мог усидеть на месте и бросился из комнаты, сам не зная для чего, сел в коляску и поспешил домой. Быстрыми шагами вошел он в кабинет и вдруг увидел перед собою изображение знакомого, драгоценного для него места. Бериллов по какому-то таинственному *чутью* отгадал характер ландшафта и изобразил его с величайшею точностью, как будто бы снял с природы. Князь, настроенный уже к необыкновенным явлениям, не догадался, что это давно ожидаемая им картина, вообразил, что действительно перенесен в то незабвенное место: мысли его смутились, чувства взволновались, и он лишился памяти.

XVIII

В Кемском открылись признаки жесточайшей нервической горячки. Для окружающих он был в беспамятстве, сам же сохранил в себе какое-то темное чувство: когда перед его глазами было светло, в слухе его раздавались разные нестройные голоса; ему чудилось, что в него вливают яд и пламя; мучения его усугублялись, становились нестерпимыми и выражались горькими воплями; когда же вокруг него становилось темно, тогда эти мучительные голоса утихали: ему казалось, что он перенесен в другой мир, что руки ангелов поддерживают его разгоряченную голову, что он вкушает небесное целебное питье, и вслед за тем он впадал в сон сладкий и крепительный; он с нетерпением ждал этих усладительных минут и в часы страданий произносил стонящим голосом: "Ночь! Ночь! Наступи скорее: свет мне несносен!"

Наконец все это слилось в одно общее чувство оцепенения.

Долго ли он лежал в совершенном беспамятстве, этого он не помнил; только, пришед в себя, он почувствовал необыкновенный холод; он лежал на чем-то жестком и колющем; вокруг него слышались голоса. Он хотел открыть глаза - невозможно, приподняться - нет силы, протянуть одну из рук, сложенных на груди, - не двигается, вымолвить слово, испустить вздох - недостает дыхания. Мало-помалу приходил он в себя, припоминал прошедшее, старался догадаться, что с ним сделалось, и наконец удостоверился, что лежит в гробу, что с ним случился припадок омертвения или мнимой смерти. Он был в совершенной памяти: чувство слуха, а отчасти и зрение, принимали впечатления извне, но весь прочий состав его был в совершенном оцепенении, и все усилия выйти из этого состояния, подать малейший признак жизни движением или голосом - напрасны. Что происходило в это время в душе его? Он был совершенно покоен, как выздоравливающий от болезни после первого крепительного сна; мысль об опасности, в которой он находился, - быть заживо погребенным, уступала место надежде, что ему непременно удастся в скором времени вывести из заблуждения особ, его окружающих. Он припоминал, что с ним было; помышлял о Хвалынском, о Бериллове, о Татьяне, о Наташе; вспоминал, что во сне, так ему казалось, был перенесен на свою родину.

Движение и шум, вокруг него происходившие, прервали это мечтание. Кто-то стоял у его изголовья и рыдал. Вдруг раздался голос Алевтины:

- Ну, полно же хныкать-то! Мертвого не разбудишь. Медор! Сведи Сережку к Наталье Васильевне да спроси, на что это походит - выпускать шалуна из комнаты? Теперь не до него!

- Слушаю, сударыня! Пойдем же, батюшка Сергей Иванович; дяденька уж не встанет. Царство ему Небесное!

Ребенок зарыдал громче прежнего и вышел с Медором.

- Не встанет, - повторила Алевтина, - наконец уgomонился. Я с своей стороны сделала все, что могла, и теперь чиста духом и сердцем пред господом Богом. Четыре доктора лечили его; иногда по восьми раз в день лекарство переменяли. И в аптеку бегал не какой-нибудь холоп, а Эльпифидор Силич, сам лекарь. Уж подлинно как князя лечили, да Богу не угодно было внять нашим молитвам. Да будет Воля Его Святая! Прошедшего не воротишь. Теперь я в доме полная барыня и всему наследница, и сын мой старший вступает во все права покойника. Яков Лукич! Напишите в герольдию просьбу об утверждении за ним фамилии и герба князей Кемских. Да что это Демка не вернулся от портного? Я без траура, как без правой руки. Надобно проучить этих негодяев, а первого злодея Мишку. От его проказ покойник и в землю пошел. Напиши, папенька, Иван Егорович, управителю, чтоб держал его в ежовых рукавицах.

В это время послышался голос вошедшего в залу слуги:

- Графиня Марья Александровна приехать изволили!

- Отказать!

- Нельзя-с, ваше превосходительство: Степан доложил ее сиятельству, что вы дома - графиня изволят идти.

- Ах вы, злодеи! Да я в отчаянии, в спазмах, в обмороке - брат умер! До гостей ли мне!

Атласное фуру графини зашумело в дверях. Алевтина бросилась на стул и громко зарыдала. Князь слышал, как старушка графиня старалась утешить неутешную, как приводила в подкрепление своих увещаний все *общие места*, употребляемые в таких случаях, но тщетно: рыдания Алевтины усиливались с каждою минутою. Графиня, истощив все свое красноречие, умолкла; раздался посреди рыданий и всхлипываний звук прощальных поцелуев, и фуру опять зашумело в дверях. Тон Алевтины в минуту переменялся.

- Никого не пускать на двор! - вскричала она. - Эти визиты слишком меня утомляют; я не вытерплю. Слышите ли, Иван Егорович? - По полу шаркнуло и послышалась дробь: "Да, да, да, да!"

Опять кто-то вошел в залу. Опять раздался звонкий голос Алевтины:

- Это что значит, сударыня? По ком это изволили в глубокий траур нарядиться? Раненько, матушка!

- Да он был мне нареченный жених, тетушка Алевтина Михайловна! - отвечал голос Татьяны Петровны.

- Вот что еще выдумала! Перекрестись, сударыня! Нареченный жених! Пожалуй, еще вздумаешь требовать седьмой доли из наследства! Полно, полно, сударыня вздор нести. Извольте образумиться.

- Помилуйте, тетушка, - возразила Татьяна Петровна, - да разве я не вашу волю исполняла, жертвуя собою? Что мне было радости в этом взбалмошном женихе? Того и гляди, бывало, что в желтый дом свезут его! Я для него, то есть для вас, бросила в Москве жениха красавца и умного. Вы ублажали меня: выдь за него, Танюшка! Здоровье-де его плохое, сегодня - завтра ножки протянет, так мы по-сестрински поделимся. Вот Бог прибрал его до срока, так я вам и в тягость. Да виновата ли я, что вы не рассчитали? Вообразите, что я, в угождение вам, рисковала быть женою полоумного человека, который всю жизнь бредил, как в белой горячке!

- Ах ты, неблагодарная! - закричала Алевтина. - Да разве я не добра тебе хотела! Вон, сию минуту вон из дому! Поносить покойного братца, этого ангела Божия! Он-де взбалмошный, он сумасшедший! Ах ты, московская вертушка! Да как ты смела? Убирайся к своему болвану жениху! Экая красавица! Еще, чай, стреляться за тебя будут! Вон с глаз моих!

Татьяна Петровна громко заплакала и вышла из залы; Алевтина же, обратясь к Тряпицыну, сказала:

- Прошу вас, Яков Лукич, постарайтесь отправить эту мамзель как можно скорее обратно в Москву. Вот благодарность за мои попечения! Бог с нею! Я ей зла не желаю. Да поторопите, чтобы скорее изготовили траур для детей. Князю Григорью плерезы велите нашить пошире. Сережку баловать нечего: и без обновы проживет. Довольно уж на веку своем заел из имения бедных моих детей, да теперь я госпожа в доме! А вы, Иван Егорович, извольте ехать в Лавру, да похлопочите, чтоб погребение было приличное нашему званию. Я в важных случаях, вы знаете, денег не жалею. Где идет дело о родственном долге, о чести фамилии, там экономия не у места.

Алевтина вышла из залы. Все последовали за нею. Настала тишина.

Горестные ощущения волновали бедного Кемского: пред ним спала завеса; он увидел во всей наготе жадность, неблагодарность, коварство и мстительность своей сестры и подлость ее помощников; увидел, что Татьяна Петровна играла выученную ею роль, и только удивлялся, как не заметил этого ранее. И в каком гнусном виде являлись сердце и нрав Алевтины: в общественной жизни она умела воздерживаться и в порывах страстей говорила языком женщины благовоспитанной, а ныне, когда не стало надобности притворяться, унизилась до ругательств, каких постыдилась бы ее ключница. Кемский в эти ужасные минуты не думал о своем бедственном положении и даже готов был желать действительной смерти. К тому присоединились и терзания оскорбленного самолюбия: его любили, ласкали, уважали за одно его богатство. Один Сережа плакал по нем, но он еще ребенок: возмужав, и он делается холодным эгоистом и лицемером. В голове страдальца закружилось: он стал забываться, неясные мечтания затолпились пред его глазами, и он опять впал в беспамятство.

Чем позже приезжает скорая,
тем точнее диагноз...



Больной нуждается в уходе врача,
и чем дальше врач уйдет,
тем лучше...

XIX

Но это забвение не было уже прежним мертвенным оцепенением. Сильным потрясением чувств произведена была в нем благотворная перемена: он погрузился в тихий, крепительный сон. Когда он чрез несколько часов проснулся, вокруг него было темно. Лицо его было покрыто прозрачною дымкою. У изголовья горела тусклая свеча, и слышалось тихое чтение псаломщика. Кемский мало-помалу пришел в себя и вспомнил, что с ним случилось и где он находится. Он ощущал возрождение чувств и сил своих, мог дышать свободнее, слышал биение сердца, думал, что может и двигаться, побоялся подать знак жизни, чтоб не испугать чтеца. В комнате было очень прохладно. Вдруг растворилась дверь, и раздался голос ключницы:

- Володимирыч! Подь-ко сюда, поужинай, да и сосни.

- Нельзя, бабушка, - проворчал псаломщик, - не смею отойти от покойника.

- Полно манериться, родной! Сама генеральша велела накормить и уложить тебя. Что теперь читать? Дело ночное. У нас и лекарей на ночь отпускали и только с утра начинали давать лекарства. Легкое ли дело тебе завтра до Лавры за покойником тащиться! Покушаешь, отдохнешь, так с силами соберешься. А завтра я ранехонько разбужу тебя. Ступай небось!

- Конец - и Богу слава! - псаломщик захлопнул книгу и ушел, взяв с собою свечу.

Князь остался один в совершенной темноте. Он не знал, что делать: оставаться в гробу - опасно, холодно; встать - перепугаешь весь дом, да и будет ли силы добратся до жилых покоев? В это время ударил час, послышался шорох легких шагов, и луч света проник сквозь замочную скважину двери, ведущей в общий коридор. Сердце его забилося надеждою. Отмыкают дверь, она отворяется, и входит в залу женщина - в черном платье, с распущенными по плечам черными волосами, неся в руках свечу. Кемский, увидев свою всегдашнюю мечту, вообразил, что это явление возвещает ему о наступлении смертного часа. Но она не останавливается вдали, как обыкновенно, а подходит медленно, озираясь во все стороны, ближе и ближе, ставит свечу на столике у изголовья, а сама обращается к гробу. В эту минуту Кемский узнал Наташу, бледную, с покрасневшими от слез глазами. Она подошла к гробу, бросилась на покойника и прижала горячие губы к его руке. Слезы ее, жаркие слезы текли ручьем. Рыдания занимали дух.

- Теперь могу сказать тебе, - промолвила она едва внятным голосом, - как страстно я тебя любила! Могу тебе поклясться, что никого в мире так любить не буду и не могу!

Слезы пресекли ее голос. Кемский был в изумлении; сердце его забилося восторгом; он готов был прижать Наташу к груди своей, но страшился испугать, убить ее; старался не подать ни малейшего знака жизни, удерживал дыхание, сторожил за каждым биением пульса. Наташа приподнялась, отошла от гроба, села на стул и в молчании вперила томные глаза свои на любезного. Чрез несколько минут растворилась дверь в залу и вошла другая девица, жившая в доме Алевтины.

- Что вы это делаете, Наталья Васильевна! - спросила она с состраданием. - Вы мучите себя, а мертвого не разбудите. Упаси Боже, если Алевтина Михайловна узнает, что вы и прощаться к нему приходили!

- Оставьте, оставьте меня, Авдотья Семеновна, - сказала Наташа слабым голосом, - дайте на него наглядеться. Завтра, чрез несколько часов, увезут его навсегда.

- Полноте тосковать, - продолжала девица, - уж вы ли мало для него делали! Вот третья неделя, что глаз не смыкали, сидя у его постели. И батюшка ваш старался об нем, как о родном сыне, но, видно, Богу не было угодно, чтоб князь выздоровел. Перестаньте ради Бога терзаться!

Наташа объявила решительно, что хочет провести сколько можно более времени у тела того, кто ей был всегда дороже в жизни. Авдотья Семеновна перестала увещевать ее, но не уходила. Из речей их Кемский узнал, что Наташа с первого дня его болезни увидела, сколь мало будет пользы от леченья, которое производилось с шумом и только для виду, что днем толпилось около его постели множество докторов, лекарей, подлекарей, а с наступлением ночи он оставался один, без всякой помощи и призрения. Алевтина именно запретила и людям оставаться на ночь при больном под тем предлогом, что он имеет надобность в отдохновении. Наталья Васильевна воспользовалась этим обстоятельством, бросилась к отцу своему и рассказав все обстоятельства фамилии, умоляла его помочь несчастному которого готовы уморить жадные наследники. Василий Григорьевич Павленко, человек истинно добродетельный, врач искусный и совестный, согласился на просьбы дочери, не подозревая, впрочем, чтоб это усердие ее к благу молодого князя было иное что, как любовь к ближнему. При помощи одного старого верного служителя почтенный врач являлся в дом с наступлением ночи, смотрел больного, испытывал предписанные ему лекарства и, когда не находил их действительными (что случалось почти всегда), давал ему свои. Между тем это одностороннее лечение не могло иметь совершенного успеха: оно лишь на несколько времени облегчало страдания больного и достав-

ляло ему краткое успокоение, и он непременно сделался бы жертвою двух противоположных систем, если б здоровая, неиспорченная натура его не поддержала.

- Что ж делать, - сказала наконец Авдотья Семеновна, - ваша совесть может быть покойна: вы сделали все, что могли, к его спасению. Пусть терзаются те, которые его сгубили!

- Нет, Дуняша! - отвечала Наташа голосом тоски и отчаяния, - Совесть моя не может быть покойна. Страшно вздумать, а мне кажется, что и я отчасти виновна в его гибели. Я, я, по внушению любви к нему, отважилась на поступок, который, вероятно, стоил ему жизни. Давно видела я замыслы Алевтины, видела, как эта коварная злодейка опутывает бедного легковерного брата, видела, как она, отчаявшись дожить до его смерти, решила отравить его жизнь, заставив его вступить в брак с женщиною, его недостойною. Татьяна Петровна не знала, не понимала, не любила князя, могу сказать: она ненавидела его; но любовь к богатству и знатности была в ней сильнее этой ненависти, и она решила воспользоваться случаем. Он стоял на краю гибели. Признаюсь, любовь моя к нему, любовь безотрадная и безнадежная, заставляла меня не раз терпеть все мучения ревности; однако, если б я могла быть уверена, что в браке с другою ожидает его счастье, я все перенесла бы в молчании. Но видеть его несчастье, видеть, что его готовы погубить навеки, связав неразрывными узами с холодною, бессердою и глупою кокеткою, - этого я не могла вытерпеть, я решила его предостеречь. Я написала к нему записку, в которой немногими словами старалась показать ему опасность его положения; записку вложила в книгу, которую Медор приносил на просмотр к Алевтине Михайловне. Князь читал эту книгу каждый вечер и конечно прочитал мою записку.

- Так что ж? - спросила Авдотья Семеновна. - Тут греха никакого нет, напротив, вы исполнили долг свой.

- Да! - отвечала Наташа протяжно. - Если б я удовольствовалась этою запискою! Не любовь внушила мне это средство, а ревность, признаюсь, к стыду моему, ревность заставила прибавить одно слово, которое, как теперь вижу, поразило несчастного. Я заметила, что одна итальянская фамилия, фамилия какой-то певицы, невзначай произнесенная, заставила его покраснеть, и я подписала эту фамилию под запискою. На другой день он приехал к нам беспокойный, расстроенный, больной, и вдруг сделался с ним припадок. Я уверена, что этим именем растрвила рану его сердца, убила его!

Что чувствовал в это время несчастный счастливец, то легче вообразить, нежели описать возможно. Одну женщину в свете он почитал достойною любви своей, но убегал ее, воображая, что она холодна, нечувствительна, что она его ненавидит, и эта самая женщина любила его пламенно, страстно, жертвовала всем для его спасения!

Слова Наташи прерваны были шорохом шагов в коридоре.

- Это батюшка ваш! - сказала Авдотья Семеновна печально. - Мы не успели уведомить его о несчастье: он приехал навестить больного. Как он, бедный, огорчится!

В это время растворилась дверь, и в залу вошел почтенный старичок невысокого роста.

- Батюшка! - вскричала Наташа, бросившись к нему. - Все напрасно! Он скончался.

- Знаю, знаю! - сказал он тихо. - Я пришел с ним проститься.

Он подошел к гробу и перекрестился. Наташа сняла дымковый покров, и старик приложился к устам покойника. Вдруг он приподнялся и сказал:

- Помилуйте, да он не умер!

- Не умер! - вскричали в один голос и дочь его и Авдотья Семеновна.

- Тише, тише! - сказал Василий Григорьевич, вынул из кармана скляночку с спиртом и начал тереть ему виски. Кемский обрадовался, что может подать знаки жизни, не пугая людей: громко вздохнул и приподнял руку.

- Жив! Жив! - закричали женщины.

Авдотья Семеновна побежала за людьми; мнимоумершего подняли из гроба, вынесли из холодной залы в его спальню, положили в теплую постель. Он хотел говорить. Павленко просил его успокоиться. Вскоре благодетельный сон смежил его утомленные веки.

Уже было светло, когда громкий шум разбудил его. Комната была наполнена людьми. Павленко сидел у его постели и держал его за руку. Наташа стояла в ногах и смотрела ему в лицо. Они не обращали внимания на Алевтину, которая бесновалась посреди безмолвного своего штаба. Иван Егорович вытянулся стрункою в форменной позиции и глядел на нее с раболепством. Тряпицын рассчитывался с псаломщиком. В отдалении стояли Авдотья Семеновна, Медор и несчастный слуга, впускавший Павленко в комнаты князя. Изредка отдергивалась занавеска стеклянной двери, и Татьяна Петровна заглядывала в комнату.

- Кто это осмелился впускать чужих людей в мой дом? Это ты, мошенник Тимошка! В деревню тебя, в пастухи! А ты, Авдотья Семеновна, изволь-ка сегодня же убираться из дому. Кто это тебя выучил черт знает кого принимать у меня в доме! И какой вздор выдумали, будто братец ожил! Сумасшедшие вы, что ли?

- Извольте посмотреть сами, - тихо сказал Василий Григорьевич, - князь приходит в себя.

Алевтина подошла, увидела, что брат ее раскрыл глаза, и в безмолвной злобе побледнела; но вдруг опомнилась и кинулась обнимать его:

- Братец любезный! Ангел мой! Бог возвратил тебя мне.

Кемский удержал ее и произнес слабым голосом:

- Алевтина Михайловна! Оставьте меня в покое. Позвольте - вижу, что вы хотите сказать: я в вашем доме, но я здесь поневоле. Освобожу вас от моего присутствия как можно скорее. Несчастный этот случай дал мне способ узнать истинных друзей моих. Наталья Васильевна! Жизнь моя - есть ваш дар, и вам она принадлежит отныне. Вы и почтенный родитель ваш - мои родные. Ни слова, Алевтина Михайловна! Людей не извольте трогать - они мои. Одному мне они обязаны отчетом в своих поступках.

Алевтина молчала в бешенстве. Иван Егорович дрожал со страху. Тряпицын дерзнул прервать молчание:

- Но, ваше сиятельство, на основании духовного завещания покойного вашего родителя...

- Молчать! - закричал Кемский, приподнявшись в постеле. - Вон отсюда, мерзавец!

- Ради бога, успокойтесь! - сказал ему Павленко и обратился к Ивану Егоровичу: - Вы будете отвечать пред законом, если попрепятствуете его выздоровлению: ему нужен покой. Вы хозяин в доме, прикажите всем вашим домашним выйти отсюда!

Иван Егорович обратился к Алевтине и подал ей знак, что должно повиноваться. Она поспешно вышла из комнаты и все последовали за нею, кроме врача и его дочери.

Продолжение следует...

Николай Греч.

С.-Петербург. Роман впервые издан в 1834 году.

Как Вы планируете лечить этого парня?

- Будем закапывать.

- Капли?

- А Вы оптимист!



ПРИТЧА ПРО ГНИЛУЮ ЛУКОВИЦУ (по Ф.М.Достоевскому)

Скупа была Марфушенька не в меру.
Свое отдать – по ней, что в сердце нож!
И малую имела в Бога веру:
Ну есть, так есть, а нет Его – ну, что ж!
Однажды к ней соседка обратилась,
Просила одолжить ей овощей,
Мол, издержалась вся и не сварила
К обеду для семейства нынче шей.
Марфуша охала и волновалась,
Клялась, что в доме нету овощей,
Искала долго: «Вот всё что осталось!» –
Дала гнилую луковицу ей.
Ушла домой почти ни с чем соседка,
Марфуша ж начала переживать,
Что ходит та просить займы нередко:
Уж очень не любила в долг давать!
Внезапно смерть подкралась к Марфуше.
Кто б мог подумать пару дней назад?
И Ангелы её скупую душу
Внесли по воле Божьей прямо в ад.
В зловонном море плавала Марфуша,
Где стоны вечные и скрежет был зубов,
И черные от вечной злобы души
Томились в бесконечности веков.

Спросил у Бога Ангел вдруг хранитель:
«Как быть, ведь были ж хорошие дела?
Она не только скряга и копитель,
Но луковицу как-то подала».
«Ну, что ж, - сказал Господь,- тогда достойно
За добрые добром воздать дела.
Возьми ту луковицу и тяни пристойно
Ее из ада. Милости хвала!»
Увидев лук, вцепилась Марфуша,
Руками крепко постаралась лук схватить.
И медленно её из ада душу
Стал Ангел добрый к Небу возносить.
Но и другие, видя это чудо,
Схватились за Марфушу, вот дела!
Пытались тоже выбраться оттуда,
И Ангел всех тихонько поднимал.
Узрев, что с ней спасаются другие,
Марфуша закричала: «Лук-то мой!»
Брыкаться стала, бить всех злобно с силой,
И лук не выдержал возни такой.
Так жадность не позволила подняться,
И в ад вернулись души всех во век.
Блажен кто смог со скупостью расстаться!
И жалок жадный в жизни человек!

18.05.2015 **Владимир Невярович**

Длинная дорога

- У памятника сегодня странный дядька ходил, - сказал вдруг Сурен. - Такой... даже слов не подберу, какой.

Вачик с любопытством взглянул на Сурена: не бывало ещё, чтобы Сурен не мог подобрать слов. Втроём они сидели на скамейке у фонтана - Вачик, Сурен и Айко. Ждали, пока Айко доест мороженое - тот, как всегда, отставал.

- Что же в нём было странного? - спросил Вачик.

- А ты представь: ходит и смотрит вот так, - тут Сурен вскочил, картинно зашатался и соорудил такую гримасу, будто хотел загипнотизировать мохнатого Шуника, блаженно развалившегося в тени под скамейкой напротив.

- Пьяный, что ли? - спросил Айко, вытирая белые «усы» ладошкой. - Или паралитик?

- Сам ты паралитик, - махнул рукой Сурен. - Что я, паралитиков не видел? Этот совсем другой был. Будто нездешний.

- В смысле, приезжий? - уточнил Вачик. - Может, иностранец?

К заезжим туристам у Вачика был особый интерес. Французы, грузины, испанцы казались ему героями нечитанной книжки, полной приключений и волшебства. Незнакомая речь, другая одежда, по-иному звучащий смех... Ещё было у иностранцев особое, почти колдовское свойство: они смотрели на привычный Вачику город с непривычным восторгом, и сам город под их взглядами делался будто бы совсем юным, повесенному свежим - и очень древним одновременно. Хотя он и так древний.

А ещё Вачик собирал монеты из разных стран. Правда, половину коллекции составляли монеты русские, и это казалось не так интересно: Вачик до сих пор не решил, считать русских настоящими иностранцами или нет.

- Шпион, - уверенно сказал Айко. У Айко к иностранцам интерес был другой: он мечтал поймать шпиона и прославиться. Прадедушка Айко много рассказывал ему о ловле шпионов, и Айко слушал его, раскрыв рот. Для прадедушки разговоры с Айко были отдушиной: остальные домашние недолюбливали старика, в том числе за рассказы из времён его молодости.

- Да нет, - отозвался Сурен задумчиво. - На приезжего не похож. Просто взгляд у него был нездешний. Словно не из нашего мира. Словно он вообще среди людей чужак. И может быть, даже не замечает, что вокруг него - люди. Мы на роликовых досках катаемся, носимся, кричим, а он будто смотрит сквозь нас и не слышит. Как если бы нас там не было. Я даже подумал: может, я один его вижу? Может, мне причудился этот самый... мираж? Но тут Шуник к нему так подходит, об ногу трётся, и я понял - не мерещится, значит.

- А он что? - спросил Вачик.

- Ничего. Потрепал за ухом, не глядя. И пошёл себе дальше. Не спеша, с расстановкой так, еле-еле. Я думал, военные так не ходят. Они всегда собранные, энергичные.

- А он разве военный? - удивился Вачик.

- Ну да. Я не сказал? Форма у него военная, весь такой в камуфляже. И орден привинчен.

- Какой орден? - живо заинтересовался Вачик. Помимо монет у него была страсть к орденам и медалям - увы, совершенно неудовлетворённая. Потускневшие награды минувших эпох продавались на лотках вернисажа, но стоили дорого. Куда дороже старых монет. Так что Вачику оставалось только мечтать. И он мечтал: вот добудет когда-нибудь орден, прицепит к своей футболке, так чтоб блестело вовсю, переливаясь на солнце, - и пройдёт по улицам гордо, как настоящий герой.

Дешевле других продавал ордена дядя Манвел, пожилой, сухощавый, с хитринкой в глазах. Его столик, крайний в третьем ряду, прислонённый вплотную к лоткам с деревянными бусами и магнитами на холодильник, появлялся на вернисаже лишь по субботам. До магнитов и бус Вачику дела не было, а вот у столика дяди Манвела он, бывало, простаивал долго, чуть не по полчаса. Перебирал монеты, рассматривал значки и горящим взором пожирал недоступные ордена, не решаясь даже коснуться.

Монеты всех стран Вачик знал наизусть: знакомые армянские, орластые русские, болгарские стотинки с боксёрского вида львом, сантимы с Сеятельницей, арабские с непонятными закорючками, немецкие с дубовыми листьями и другие немецкие - с циркулем.

- Смотришь, смотришь, ничего не берёшь, - беззлобно журил Вачика дядя Манвел.

- А я выбираю, - отвечал Вачик, вздёрнув нос. - Вот выберу и куплю.

- Ну выбирай, выбирай, - вздыхал дядя Манвел.

Разговор этот повторялся каждые выходные. Но Вачик всё не мог выбрать. А однажды дядя Манвел подарил ему монету с дырочкой - просто за так.

- Датская! - восхитился Вачик. И, от восторга со смущением вместе, забыл даже поблагодарить дядю Манвела.

Монета была истёртая, медная, но года не очень старого. Впрочем, всё равно старше Вачика. Так что он, продев сквозь дырку шнурок, носил её, как медальон.

- Я Гамлет, принц Датский, - говорил Вачик Сурену, отставив ногу и приняв величественную позу. - А ты кто? Неужто мой бедный Йорик? Протяни-ка сюда свой череп, он тебе уже не понадобится.

Сурен только хмыкал и советовал Вачику беспокоиться о собственном черепе, не то мало ли что...

Позже, на излёте весны, Вачик из денег на мороженое купил у дяди Манвела значок молодёжного фестиваля. Значок был красивый - цветок с пятью лепестками: жёлтым, красным, зелёным, лиловым и голубым. А в середине летящая птица. Очень понравился Вачику этот значок: сияющий, весёлый, и одновременно с грустинкой. Вачик сначала не мог понять, откуда эта грустная нотка. А потом понял. Значок был похож на эмблему геноцида армян.

Впрочем, дядя Манвел, протягивая Вачику значок, вздыхал не о том.

- Сам когда-то такой носил, - сказал дядя Манвел. - Для нас делалось. Мы и были та молодёжь. «Фестивал, Катюша», - добавил он по-русски, словно передразнивая кого-то. - А теперь восемьсот драмов - и носи на здоровье кто хочет.

- Скинул бы сотню мальчонке, - бросила через плечо проходившая мимо тётя Ануш, соседка дяди Манвела.

- Восемьсот, - повторил дядя Манвел и с усмешкой добавил. - Свою молодость продаю. Разве молодость дешевет?

Вачика же поразило открытие: оказывается, дядя Манвел, старый, с морщинами на лбу и на впалых щеках, тоже когда-то был «молодёжкой». И птица, которая на значке, стремилась ввысь - для него.

Этот значок Вачик носил недолго. Как-то раз подрался с ребятами из седьмого подъезда - те дразнили Айко. Драка - так, ничего серьёзного, не первый раз. Зубы целы, нос на месте, даже синяков не осталось. Но пришёл домой - нет значка. Сколько ни искал - не нашёл.

Вечером Сурен притащил яркий фонарь, как из фильмов о сыщиках, и они искали втроём: Сурен, Вачик и Айко. Сурен нашёл пуговицу (уверял, что серебряная), Айко - бутылочную крышку с узорчатой буквой «S», а вот Вачику не повезло. Показалось было: блеснит! Но увы, это был лишь осколок стекла.

На вернисаже, наверное, можно было добыть другой такой же значок. Однако Вачик как истый коллекционер не любил повторений. К тому же ему не хотелось, чтобы кто-то, как дядя Манвел, торговал своей молодостью. «Покупая чужую молодость, сам становишься стариком», - изрёк на сей счёт Сурен.

А вскоре уже и значки забылись: Сурену родители купили роликовую доску, и ребята теперь часами напролёт катались у памятника, выписывая лихие виражи и показывая чудеса мастерства.

Иногда на мальчишек поглядывала кудрявая Изабель из 6 «А», возвращавшаяся с танцев домой, и тогда ветер обжигал Вачику щёки, колкие мурашки пробегали вдоль шеи, а в голове разом делалось пусто и невесомо. Однажды невесомость чуть затянулась - мир завертелся перед глазами, и Вачик обнаружил, что лежит на земле. Боль в колене, ссадина на руке, но сильнее всего - захлёстывающий страх: сейчас Изабель засмеётся! Вот же стыд!

Но она не засмеялась. Подбежала - в глазах не то испуг, не то удивление. Протянула руку:

- Вставай?

Хотя раньше не разговаривали.

Но ответить Вачик не успел: его уже подхватил за плечи Сурен, помог сесть.

- А ты иди, - строго сказал Сурен, покосившись на Изабель. - Нам тут не надо...

Она исчезла мгновенно, словно и не бывало. Вачик же, закусив от боли губу, поднялся на ноги, подхватил доску и, не глядя совсем на Сурена, поехал на новый круг.

...И вот теперь середина лета. Площадь, большой фонтан, беззаботные люди спуют по своим делам, а кто-то вовсе без дела. Здесь когда-то была революция, и людей было больше, стояли целые толпы: Вачик бегал смотреть, не спросясь у родителей. А

сейчас всё как прежде. Но что-то всё-таки изменилось. И Вачик посматривает по сторонам, пытаюсь найти отличия.

- Меньше уставших лиц, - сказал один прохожий другому.

- И там теперь вход свободный, - кивком указал второй.

- Главное - выход, - фыркнул первый.

Они прошли дальше, а Вачик подумал:

«Вот бы и в нашей школе так сделать: вход-выход свободный, и чтоб без уставших лиц».

...Суббота, площадь. Сурен рассказывает, как странный военный ходил у памятника. Солдат непростой, с орденом.

- Какой орден? - откликается Вачик.

- А я знаю? - удивляется Сурен. - Может, за Талыш. С бело-красной лентой такой... Пойдёмте, что ли, уже? Засиделись. Айко, у тебя нос в мороженом.

Айко послушно трёт нос.

...Домой ведут две дороги - прямая и длинная. Прямая идёт через вернисаж. Вачик любит эту дорогу. На вернисаже всегда найдётся что посмотреть. А сегодня суббота, значит, снова за столиком будет дядя Манвел со значками и орденами.

Сурен порой смеётся:

- Длинной дорогой пойдёшь, небось выйдёшь короче.

Длинная дорога идёт в обход, тянется параллельной улицей. Но и вправду выходит быстрее: глазеть не на что.

Ребята шагают втроём: Сурен, как всегда, впереди; Айко, по обычаю, отстаёт. Проходят мимо хачкаров, сторонятся больших собак, всегда играющих в сквере. У столика со значками Вачик предсказуемо застревает, глаза его разбегаются, и он уже не слышит Сурена, забывает о странном военном, о времени, обо всём...

...И наверное, тот рассказ так и выветрился бы у Вачика из головы, растаял, не оставив следа, если б через несколько дней Вачик сам не увидел солдата.

Дело было под вечер. У памятника, как и в рассказе Сурена. Но катавшиеся ребята уже разошлись, лавочки пустовали, и только немногочисленные прохожие спешили мимо, никуда не оглядываясь. А у памятника стоял он.

Вачик замер. Воззрился на человека в военной форме - высокого, чуть сутулого. Человек стоял к нему спиной, но Вачик сразу понял, что это он. Тот, о ком говорил Сурен. Не родственник, не какой-то знакомый, и всё же Вачика на миг накрыло чувство странного узнавания. Хотя чем угодно он мог бы поклясться, что никогда этого человека не видел.

Военный не спеша повернулся, двигаясь как-то неестественно, скованно, и Вачик мог теперь разглядеть его лицо. Не старое, но и юным не назовёшь. «Человек без возраста», - вспомнил Вачик расхожую фразу. Ещё шрам на скуле - бледная полоса. Сурен ничего не сказал про шрам. На куртке камуфляжного цвета был и вправду привинчен орден - золотой, поверх бело-красной ленты.

Вачик уставился на орден во все глаза. А военный посмотрел на Вачика, будто только сейчас заметил его присутствие. Усмешка тронула его губы, и что-то мелькнуло во взгляде такое, что Вачик слегка оробел.

Нет, он не почувствовал ни враждебности, ни угрозы, лишь какую-то смутную неловкость, словно нарушил по незнанию некий важный запрет или попался за подглядыванием в замочную скважину.

Что-то такое было в глазах военного - непонятное, не поддающееся словам. Будто смотрит человек из дальнего далека, из бездны, из пустоты...

Это не был бессмысленный взгляд слепого. Незнакомец видел Вачика, может, даже - видел насквозь, со всеми его страхами, тайнами, самыми сокровенными мечтами. Но смотрел на него не отсюда, не от памятника, что высился в десяти шагах, а из безмерно далёкого, непостижимого мира, куда Вачику никогда не попасть, даже если идти туда тысячу лет.

Военный медленно, механическим движением поднял руку, на мгновение заслонив орден, и всё с той же усмешкой кивнул Вачику.

- Спасибо... - прошептал Вачик. А может, просто подумал, потому что голоса своего не услышал. - Спасибо... но я... нет...

Пустота потеплела. Военный чуть тряхнул головой, развернулся и быстрым шагом пошёл прочь.

А Вачик вдруг ощутил абсолютную невозможность оставаться на месте.

Опрометью, во все лопатки, он бросился домой, и бежал, бежал не останавливаясь, до самой двери. Так и влетел без лифта на четвёртый этаж.

- Что с тобой, Вачик-джан? - спросила мама, открывая.

- Я... там... нет... Я не знаю, - пробормотал Вачик, не в силах перевести дух.

И больше о той встрече не сказал ни единого слова. Никому. Ни в тот день, ни на следующий, ни позже. Вообще никогда.

И никто, даже чуткий Сурен, так и не догадался, почему теперь Вачик обходит вернисаж стороной, а домой возвращается только длинной дорогой.

Лев Арменович Григорян.

Фразы дирижеров, или как ругаются интеллигентные люди:

“Почему вам в детстве не объяснили, чем труба отличается от пионерского горна?”

“Не надо так терзать арфу и путать ее с пьяным мужем!”

“Если вы еще раз так сыграете первую цифру, я убью всех вас по очереди, похороню, отсижу, а потом наберу новый оркестр!”



Ты ноешь и плачешь, не думая даже, что жалость - сомнительный вид эликсира. А кто-то сегодня проснется и скажет: - Живой - и прекрасно. Дышу - и спасибо. В то время, как ты засыпаешь во мраке не в тесном бараке - в квартире красивой, отчаянно кто-то сражается с раком: проснулся - прекрасно, живой - и спасибо! Под вязанным пледом и с чашкою чая ты воздух горячий глотаешь, как рыба. А кто-то действительно ходит по краю и каждой соломинке шепчет: спасибо... Не скованны пальцы болезнью смертельной, и сносна достаточно эта поклажа. Ты видишь прохожих и слышишь капли. "Счастливый" - наверное, кто-нибудь скажет. Ты плачешь сегодня - причина убога. Бывает, песчинка покажется глыбой. И ангелы скажут когда-нибудь Богу: - Да что ему нужно? Живой - и спасибо! От жалости этой знобит поминутно. Её повороты, как сети, опасны. Есть руки и ноги, и ветер попутный. Есть море. А море - безумно прекрасно!.. Барахтайся, воду глотая и пену, мозги отмывая до белой свободы. И кровь заструится быстрее по венам - и в легких добавит тебе кислорода. Смотри в это небо с восторгом щенячьим. И жизнь украшай ослепительным нимбом. Есть капля удачи и кофе горячий... - За это уже говорится: спасибо.

Алена Васильченко

*Пятна света. Лёгкость линий.
Тень. Текучесть. Высота.
Стужа. Снег. Алмазный иней.
Вальс осеннего листа...
Тонкий, скрученный, пунцовый,
Словно южный солерос,
Лист как будто леденцовый...
Вальс-огонь и вальс-мороз.
Сон засахаренной розы -
Без шипов и без куста...
На ветру просохли слёзы
У продрогшего листа...*

*Гребенюкова Наталья.
Хабаровск.*



Молодая собака спрашивает старую:
- Скажи, почему мы всю жизнь в намордниках, а люди только сейчас начали их носить?
- Ну так мы и в космос раньше полетели...



Российские сыровары решили побаловать покупателей и выпустили сыр «Covid-19». Он не имеет ни вкуса, ни запаха.



Тузик и его друзья

У гномиков новое занятие.



На Шумном Дворе опять весело. Карантин закончился - и всё пошло кувырком.

Тузик носится по двору, гоняет сорок. Матильда Леопольдовна тоже радуется. Только она спокойная, - сидит на веранде и уютно мурлычет. И жмурит от удовольствия зелёные глаза.

Кошка с любопытством поглядывает во двор. А там...

После долгого карантина, когда нельзя было много шалить, гномики снова проказничают. Они забрались в курятник, поймали одну Рябушку и пытаются надеть на неё маску - ту самую маску, что они носили во время карантина.

Курица спорит - громко кудахчет, не соглашается на такое безобразие. Другие Рябушки тоже разволновались, летают по курятнику, хлопают крыльями - да так, что вокруг только перья

летят. И все возмущаются:

- Ко-ко-ко, что за глупости! Ко-ко-ко, где это видано, чтобы курочки носили маски?!

В курятнике пыль поднялась столбом. Говорилка громко чихнул. Следом чихнул Бублик. Оба вытирают грязными ладошками носы.

- Ой, дети простудились! - испугалась мама-Иголочка.

- Нет, нет, наши малыши здоровы, - успокоил её дедушка Помахайкин. - Просто шалуны устроили в курятнике переполох... Поэтому поднялась пыль. Не дают бедным Рябушкам покоя.

Ничего не поделают, пришлось гномикам выйти из курятника.

В это время послышался голос зелёно-красного попугая. Это прилетел Базлан. Сел на нижнюю ветку Леопарда и закричал на весь Шумный Двор:

- Детишки, вместо того, чтобы приставать к Рябушкам, лучше займитесь чем-то интересным. И полезным.

Гномики виновато опустили головки: да, было такое...

Попугай заговорил немного тише:

- У вас есть телефоны? Есть. Вот и снимайте телефоном видео. Снимайте свой Шумный Двор...

- Да, да! - обрадовалась Матильда Леопольдовна и спрыгнула с веранды. - Сделайте в Интернете канал и там показывайте свои видео.

Тузику понравилась идея белой кошки.

- Я буду на вашем канале **ведущим**, - сказал он.

- Что такое "ведущий"? - спросили гномики.

- Это значит, - тряхнул крыльями Базлан, - что в ваших видео Тузик будет рассказывать ребятишкам обо всех, кто живёт на Шумном Дворе. Например, о вас, милые шалуны. Да, Тузик будет рассказывать о ваших проделках. И ещё - о Рябушках и сороках, о Матильде Леопольдовне... Поэтому вы все будете Артистами.

Рябушки скромно закудахтали:

- Мы будем ходить по двору, искать в траве букашек и зёрнышки. Будем скрести лапой землю и приговаривать "Ко-ко-ко". Для видео это очень важно.

- А кто будет делать **монтаж**? - спросил Тузик.

- Ой, опять новое слово! - сказал Бублик.

- Что такое "монтаж"? - вытаращил глазёнки Говорилка.

- "Монтаж" - объяснил Тузик, - это когда составляют кусочки видеозаписей вместе, и из них получается маленький фильм...

- В такой фильм можно добавлять музыку и разные интересные фокусы, - кивнула Матильда Леопольдовна. Потом этот фильм можно смотреть по телевизору.

- Ой, как интересно! - радостно захлопал в ладошки и начал скакать Говорилка. - Мы с Бубликом будем делать монтаж!

- Э-э., нет, малыши! Эту работу мы поручим папе-Лобику, - скрипнул ветками Леопард. - Вы, гномики, слишком много шалите, а монтаж - дело серьёзное. Тут нельзя



баловаться. Даже Тузику нельзя поручить монтаж, а то он увидит сорок - и кинется их догонять....

Тузик виновато опустил голову:

- Твоя правда, Базлан: я их только что гонял.

Бублик и Говорилка ещё долго бегали по двору, играли в чехарду и шумели распугивая птиц. Наконец шалуны устали и сели на крылечко отдохнуть. К ним подошли Тузик и Матильда Леопольдовна. Даже Базлан присел неподалёку. И все вместе стали обсуждать - что и как они будут снимать на видео.

Говорили долго, до самого вечера. И наконец малыши уснули.



Детская страничка



“Жемчужина” № 78 - Апрель 2022

СОДЕРЖАНИЕ

Отцы пустынноики... (стих. Пушкин)	1
Весна (стих. Г. Ладоницкий)	1
Чтите долю солдат... (стих. А. Лазутин)	1
Я родилась, когда уже травую... (стих. Т. Грибанова)	1
Я Горловка... (стих. С. Филин)	2
Герань (стих. А.И. Несмелов)	2
О заставлении и насилии (продол. статьи, И. Ильин)	3
Украина, ты ... (стих. К.Ю. Фролов)	11
Ушаков Федор Федорович (статья, с И-нета)	12
Молиться (рассказ, В. Бодров)	14
Оттепель (стих. Николай Заболоцкий)	14
"Красный" архиерей (рассказ, свящ. о. Николай Толстиков)	15
Листая старую тетрадь (стих. Игорь Тальков)	19
Бельканто (миниат. А. Герасимов)	20
10-ая Заповедь (стих. А.С. Пушкин)	20
Старый дом на горе... (стих. Т. Грибанова)	20
Анчоус (рассказ, Г. Прогово)	21
Тонкости русского языка	24
Не речные пороги... (А. Лазутин)	24
Воробушки (миниат. А. Герасимов)	25
Привидение из Лоуфорд-Холла (детект. Артур Конан Дойл)	26
Саломея (роман, А.Ф. Вельтман)	32
Чёрная женщина (роман, Николай Греч)	43
Притча про гнилую луковицу (стих. Владимир Невярович)	52
Длинная дорога (рассказ, Л.А. Григорян)	53
Ты ноешь и плачешь... (стих. Алена Васильченко)	56
Пятна света. Лёгкость линий... (стих. Н. Гребенюкова)	56
Тузик и его друзья (Т. Малеевская, рис. автора)	57

Над номером работали: редактор Т.Н. Малеевская.

Электронную версию журнала читать в Интернете - <http://zhemchuzhina.yolasite.com>



<http://zhemchuzhina.yolasite.com>

<http://ruskojezarubezhje.yolasite.com>

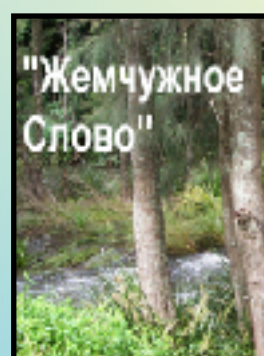
tamaleevwriting.yolasite.com

<http://zhemchuzhnojeslovo.yolasite.com>



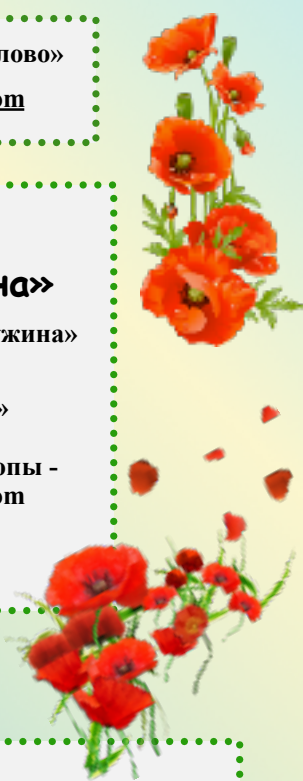


ВНИМАНИЕ !
 Вышла в свет новая книга:
Т.Н. Малеевская
«ВИДЕНИЯ» -
 - Избранные стихи, рассказы,
 воспоминания, путевые заметки -
 За справками обращаться –
 tmaleevsky10zabelsky@gmail.com



Литературный кружок «Жемчужное Слово»
<http://zhemchuzhnojeslovo.yolasite.com>

Сайты связанные с журналом «Жемчужина»
 Электронная версия журнала «Жемчужина»
<http://zhemchuzhina.yolasite.com>
 Новый сайт «Русское Зарубежье»
 Посвящается Харбинцам
 и послевоенным эмигрантам из Европы -
<http://russkojezarubezhje.yolasite.com>
 Также личный сайт автора -
tamaleevwriting.yolasite.com



Авторские Видео в YouTube
 Видеозаписи можно смотреть на YouTube
<https://www.youtube.com/channel/UCL7DgIlg6NNWRtSooYMdF0g>
 или
 просто в YouTube набрать имя * Tamara Maleevsky *